

В прериях. Генрик Сенкевич

Рассказ капитана Р.

В бытность мою в Калифорнии собрался я однажды с моим приятелем, славным и храбрым капитаном Р., навестить нашего родственника И., живущего в пустынных горах Санта-Лючия. Дома мы его не застали и просидели дней пять в глухом ущелье, в обществе старого слуги-индейца, который в отсутствие хозяина смотрел за пчельником и ангорскими козами. Приноравливаясь к местным обычаям, я спал большую часть дня, а по ночам, сидя у костра из сухого чамизала, слушал рассказы капитана о его удивительных приключениях, возможных только в американских пустынях.

Эти часы были для меня восхитительны. Ночи – настоящие калифорнийские – тихие, теплые, звездные; костер весело пылает, и его отблеск освещает мощную и статную благородную фигуру старого воина-пионера. А он, глядя на звезды, напрягает память и ищет в ней события прошлого, дорогие имена и образы, навевающие при одном воспоминании тихую грусть.

Один из этих рассказов я передам так, как его слышал, ничего не изменяя, и надеюсь, что читатель выслушает его с таким же интересом, с каким слушал я.

I

Прибыв в Америку в сентябре 1849 года, рассказывал капитан, я очутился в Новом Орлеане, тогда еще наполовину французском городе. Оттуда я направился на большую сахарную плантацию в верховьях Миссисипи, где нашел работу и хорошее вознаграждение. Но в те времена я был молод и предприимчив, мне скучно было сидеть на одном месте и заниматься канцелярской работой; и вот я вскоре оставил жизнь на плантации, сменив ее на жизнь в лесах. Несколько лет я провел с моими товарищами среди луизианских озер, крокодилов, змей и москитов. Мы промышляли охотой и рыбной ловлей, а время от времени сплавливали большие партии леса по реке до Орлеана, где нам платили за него немалые деньги. Наши экспедиции часто достигали весьма отдаленных краев. Мы спускались до Кровавого Арканзаса, который и теперь еще мало заселен, а тогда и вовсе был пустынным. Такая жизнь, полная труда и опасностей, кровавых стычек с пиратами на Миссисипи и с индейцами, которыми были еще полны Луизиана, Арканзас и Теннесси, закалила мою от природы недюжинную силу и здоровье. Кроме того, она дала мне опыт степной жизни, так что я научился читать в великой книге прерий не хуже любого краснокожего воина. И когда в Калифорнии обнаружили золото и большие партии эмигрантов стали почти ежедневно туда уходить из Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии и других городов Востока, одна из таких партий, зная мою опытность, пригласила меня в качестве начальника, или, как говорят у нас, капитана.

Согласился я охотно: о Калифорнии тогда рассказывали чудеса, я же издавна носился с проектом поездки на далекий Запад. При этом я вполне отдавал себе отчет в опасности этого предприятия. Нынче расстояние от Нью-Йорка до Сан-Франциско можно одолеть по железной дороге за неделю, а настоящая пустыня начинается только от Омахи; тогда же все было совсем иначе. Всех этих городов и селений, рассыпанных теперь густо, как мак, между Нью-Йорком и Чикаго, еще и в помине не было. А сам Чикаго, выросший потом, как гриб после дождя, был тогда еще жалким, неизвестным рыбацким поселком, и вы не нашли бы его ни на одной карте.

Итак, нам предстояло двигаться с повозками, людьми и мулами по совершенно диким краям, заселенным грозными племенами индейцев – Воронов, Черноногих, Поуни, Сиу

и Арикаров. Нечего было и думать о том, чтобы от их глаз могло скрыться движение стольких людей, ибо эти подвижные, как песок, племена не имеют постоянного местопребывания, а, по обычаю всех охотников, кружат по степному простору, преследуя стада буйволов и антилоп. Так что нам предстояли немалые трудности, но тот, кто отправляется на далекий Запад, должен быть к ним готов, и даже к тому, что придется не раз рисковать головой. Больше всего прочего меня заботила ответственность, которую я брал на себя, но дело было уже решено, и мне оставалось лишь заняться приготовлениями к пути, которые продолжались более двух месяцев, ибо надо было выписать повозки из Пенсильвании и Питтсбурга, закупить мулов, лошадей, оружие и большие запасы продовольствия. К концу зимы все было готово.

Я хотел выступить так, чтобы большие прерии между Миссисипи и Скалистыми горами пересечь весной, ибо я знал, что летом из-за жары, царящей на этих открытых пространствах, люди болеют многими болезнями. По этой же причине я решил вести отряд не по южной дороге, на Сен-Луи, а через Айову, Небраску и Северный Колорадо. Этот путь был более опасен в отношении индейцев, но зато, без сомнения, менее вреден для здоровья. Мое намерение вызвало вначале недовольство среди людей моего отряда. Но когда я заявил, что если они не хотят подчиниться мне, то пусть ищут другого капитана, они, недолго поразмыслив, согласились со мной.

С первым дуновением весны мы двинулись в путь. Сразу же начались для меня трудные дни, особенно пока люди не освоились со мной и с условиями. Моя личность внушала им доверие, так как авантюрные походы в Арканзас создали мне некоторую славу у непоседливого пограничного населения, и имя Big Ralf (Большой Ральф), под которым я был известен в степях, не раз звучало в ушах большинства моих людей. Но все же капитан, или начальник, часто оказывался по самой природе вещей в весьма затруднительном положении, имея дело с переселенцами. В мои обязанности входило выбирать место для ночного привала, заботиться об экспедиции днем, следить за караваном повозок, растягивающихся по степи иногда на целую милю, назначать охрану во время движения и стоянок и разрешать садиться на повозки группам, по очереди отправляющимся отдыхать.

Американцам, правда, в высшей степени присущ дух дисциплины, но из-за трудностей похода энергия у человека слабеет, недовольство охватывает даже самых стойких, и тогда уже никому не хочется, проскакав день на коне, ночью идти в охрану, — наоборот, всякий рад, когда подходит его очередь, увильнуть и лежать целыми днями на повозке. Притом, имея дело с янки, капитан должен сочетать дисциплину с известной приятельской фамильярностью, а это весьма нелегко. Случалось, что во время похода и в часы ночных стоянок я полностью господствовал над волей каждого из моих спутников, но в часы дневного отдыха на фермах и в поселках, вначале попадавшихся нам по дороге, моя роль командира оканчивалась. Каждый тогда был сам себе хозяин, и мне не раз приходилось ломать сопротивление дерзких авантюристов.

Однако на многочисленных «рингах» неоднократно выяснялось, что мой мазовецкий кулак сильнее американских, и после этого мой авторитет настолько вырос, что впоследствии у меня уже не бывало каких-либо стычек. Впрочем, американский характер я знал насквозь и знал, как с ним обходиться, а стойкость и бодрость во мне поддерживала к тому же пара небесно-голубых глаз, поглядывавших на меня с особым интересом из-под холщового навеса повозки. Эти глаза и лоб, обрамленный пышными золотистыми волосами, принадлежали молодой девушке по имени Лилиан Морис, родом из города Бостон, штат Массачусетс. То было нежное, гибкое создание

с тонкими чертами грустного и почти детского лица.

Грусть у такой молодой девушки поразила меня в самом начале путешествия, но обязанности капитана вскоре отвлекли мою мысль и внимание в другую сторону. В первые недели, помимо обычного ежедневного «Good morning!», мы едва ли обменялись двумя-тремя словами. Однако молодость Лилиан и ее одиночество – ведь во всем караване у нее не было ни одного родственника – вызывали во мне сочувствие, и я оказал бедной девушке несколько мелких услуг. Ограждать ее от назойливости молодых людей, путешествовавших с нами, своим авторитетом начальника и кулаком мне не было никакой нужды. Среди американцев самая молодая женщина может рассчитывать если не на преувеличенную любезность, которой отличаются французы, то, по крайней мере, на полную безопасность. Однако, приняв во внимание слабое здоровье Лилиан, я поместил ее в самой удобной повозке, которой правил весьма опытный возчик Смит. Я сам устал ей сиденье, чтобы ночью она могла спать на нем с удобством, и, наконец, отдал в ее распоряжение одну из теплых буйволовых шкур, бывших у меня в запасе. Хотя услуги эти были незначительны, Лилиан, по-видимому, почувствовала за них живую признательность и не упускала ни одного случая, когда могла мне ее выказать. Видно было, что она была очень кротким и робким созданием. Две женщины – тетушка Гроссвенор и тетушка Аткинс, ехавшие с ней на одной повозке, вскоре чрезвычайно ее полюбили за мягкий нрав, а прозвище Little Bird (Маленькая Птичка), которое они ей дали, вскоре стало именем, известным во всем обозе.

Однако между мной и Маленькой Птичкой не было ни малейшего сближения до тех пор, пока я не подметил, что голубые и почти ангельские глаза этого ребенка обращаются ко мне с какой-то особой симпатией и упорным интересом. Можно было это объяснить тем, что из всех людей отряда один я немного знал толк в светском обращении и Лилиан, у которой также чувствовалось хорошее воспитание, видела во мне человека, более близкого ей, чем другие спутники. Но тогда я объяснял это себе несколько иначе, и ее интерес ко мне льстил моему тщеславию. Тщеславие же привело к тому, что и я стал более внимателен к Лилиан и начал чаще заглядывать ей в глаза. Вскоре я уже сам не мог понять, как это случилось, что я раньше не обращал почти никакого внимания на такое прелестное существо, способное внушить нежные чувства всякому человеку с сердцем. С тех пор мне полюбілось гарцевать на коне возле ее повозки. Во время дневного зноя, изрядно докучавшего нам в полуденные часы, – хотя еще стояла ранняя весна, – когда мулы лениво тащились, а караван так растягивался по степи, что, стоя у головной повозки, едва можно было разглядеть последнюю, я часто проносился верхом из конца в конец, без нужды гоняя коня только ради того, чтобы мельком взглянуть на эту светлую головку и эти глаза, не выходявшие у меня из ума. Сперва Лилиан больше занимала мое воображение, чем сердце, но и тогда мысль, что среди этих чужих людей я не совсем одинок, что есть душа, сочувствующая мне, хоть немного интересующаяся мною, вселяла в меня отраду. Возможно, это было уже не тщеславие, а человеческая потребность в том, чтобы ум и сердце не расплывались на такие неопределенные и необозримые предметы, как леса и степи, чтобы сосредоточить всю душу на одном живом и любимом существе и, вместо того чтобы теряться в каких-то далих и бесконечностях, найти себя в одном родном сердце.

Я почувствовал себя менее одиноким, и все путешествие приобрело для меня новую, дотоле неведомую прелесть. Прежде, когда караван растягивался, как уже сказано, по степи и последние упряжки исчезали из виду, я усматривал в этом лишь недостаток осторожности и беспорядок, за что сильно сердился. Теперь же, когда я останавливался на какой-либо возвышенности, вид этих белых и полосатых фургонов, освещенных солнцем и плывущих подобно кораблям в море трав, вид вооруженных

всадников, разбросанных в живописном беспорядке подле вереницы повозок, наполнял мою душу восторгом и блаженством. Сам не знаю, откуда возникали у меня такие сравнения, но мне казалось, что это какой-то библейский караван, который я, как некий патриарх, веду в землю обетованную. Колокольчики на упряжках мулов и напевное «Get up!» возчиков, как музыка, вторили моим мыслям, стремившимся из переполненного сердца.

Однако мы с Лилиан ограничивались немой беседой взоров, так как меня стесняло присутствие женщин, ехавших вместе с ней. Вдобавок с того времени, как я заметил, что между нами уже есть что-то, чего я сам еще не умел назвать, хотя чувствовал, что оно есть, меня охватила какая-то странная робость. Но я удвоил свою заботливость о женщинах и часто, заглядывая внутрь повозки, осведомлялся о здоровье тетушки Аткинс и тетушки Гроссвенор, чтобы таким образом оправдать и уравновесить заботу, которой я окружил Лилиан. Она же прекрасно понимала мою политику, и это составляло как бы нашу тайну, скрытую от окружающих.

Но вскоре мне уже стало недостаточно взглядов, беглого обмена словами и нежных забот. Эта девушка со светлыми волосами и ласковым взглядом влекла меня к себе с непреодолимой силой. Я думал о ней целыми днями и даже по ночам. Когда, измученный объездом дозоров и охрипший от выкрикивания «All's right!», [1] я взбирался наконец на повозку и, завернувшись в буйволону шкуру, закрывал глаза, чтобы заснуть, мне казалось, что комары и москиты, жужжащие вокруг меня, беспрестанно поют мне имя: «Лилиан, Лилиан, Лилиан»! Ее образ был со мной в моих снах; когда я пробуждался, первая мысль летела к ней, словно ласточка. И все же странная вещь! – я не сразу заметил, что прелесть, какую приобрел для меня весь мир, и душевная радость, окрашивающая все вокруг в радужные цвета, что мысли, летящие вслед за повозкой, – что все это не дружба и не привязанность к сиротке, но гораздо более сильное чувство, от которого нет защиты никому, чей час настал.

Возможно, я заметил бы это раньше, но нежный характер Лилиан покорял не меня одного, а всех: вот я и думал, что нахожусь под очарованием этой девушки не больше, чем другие. Все любили ее, как родное дитя, доказательства тому ежедневно были перед моими глазами. Ее товарки были женщинами простыми и довольно сварливыми, но я не раз видел, как тетушка Аткинс, настоящий Ирод в юбке, расчесывая по утрам волосы Лилиан, целовала ее с материнской сердечностью, меж тем как миссис Гроссвенор сжимала в своих ладонях руки девушки, иззябшие за ночь. Мужчины также окружали ее заботами и вниманием. Был в караване некий Генри Симпсон, молодой искатель приключений из Канзаса, бесстрашный стрелок, по сути хороший парень, но настолько самоуверенный, дерзкий и неотесанный, что в первый же месяц я был вынужден дважды его поколотить, чтобы он знал, что тут есть кое-кто, у кого кулаки посильнее, чем у него, и старший по положению. Так вот надо было видеть этого Генри, беседующего с Лилиан: он, ни во что не ставящий самого президента Соединенных Штатов, вдруг терял весь апломб и смелость и, снимая шапку, то и дело повторял: «I beg your pardon, miss Moris!» [2] Вид у него был как у волкодава на цепи, но было ясно, что этот волкодав готов повиноваться каждому мановению крошечной полудетской ручки. На привалах Генри также старался быть подле Лилиан, чтобы оказывать ей разные мелкие услуги. Он разводил костер, выбирал ей защищенное от дыма место, предварительно устлав его мхом и попонами, откладывал для нее лучшие куски дичи. И все это он делал с какой-то робкой заботливостью, которой от него трудно было ожидать, вызывавшей, однако, во мне неприязнь, весьма похожую на ревность.

Но я мог только сердиться, не больше. Генри, пока не приходила ему очередь быть в дозоре, мог распорядиться своим временем, как ему угодно, а это значило – быть

близ Лилиан. Между тем мое дежурство не кончалось никогда. В пути повозки тащились одна за другой, часто на большом расстоянии; но с того дня, как мы вступили в пустынные земли, я, как это делается в прериях, размещал фургоны на полуденный привал в одну поперечную линию так тесно, чтобы между колесами едва мог протиснуться человек. Трудно себе представить, сколько усилий и хлопот мне стоило выстроить такую линию, удобную для обороны. Мулы, животные от природы дикие и непослушные, вместо того чтобы становиться в ряд, упирались на месте, не хотели сходить в сторону от проторенной дороги и при этом кусались, визжали и лягали друг друга; повозки на крутых поворотах часто опрокидывались, а чтобы поднять эти дома из дерева и холста, надо было затратить немало времени; визг мулов, ругань возчиков, брэнчанье бубенцов и лай собак, следующих за нами, создавали адский шум. Когда мне удавалось кое-как привести все в порядок, я должен был еще следить, как распрягают животных, и присматривать за теми людьми, чья очередь была гнать их на пастбище и водопой. А меж тем к табору стягивались со всех сторон люди, отправившиеся во время похода в степь поохотиться, все собирались и располагались у костров. А я едва урывал время поесть и отдохнуть.

Но, пожалуй, вдвое больше работы было тогда, когда после привала мы пускались в путь; запряжание мулов сопровождалось криками и суматохой еще больше, чем распряжание. Каждый возчик старался опередить других, чтобы потом не пришлось их объезжать стороной, нередко по плохому грунту; начинались ссоры, споры, проклятия, и происходила досадная задержка в пути. За всем этим надо было следить, а в походе — ехать впереди вместе с проводниками, чтобы осматривать окрестности и своевременно выбирать места защищенные, снабженные водой и вообще пригодные для ночлега. Часто проклинал я свои обязанности капитана, хотя, с другой стороны, меня наполняла гордостью мысль, что на всем этом бесконечном просторе я первый перед прерией, первый перед людьми, первый перед Лилиан и что судьба всех этих существ, бредущих с возами по прериям, в моих руках.

II

Однажды, переправившись через Миссисипи, мы остановились на ночлег у реки Сидар, берега которой поросли хлопковым деревом, обеспечившим нас топливом на всю ночь. Проводив отряд с топорами в чащу, я, возвращаясь в лагерь, издали заметил, что наши люди, пользуясь хорошей погодой, тихим и теплым днем, разбрелись по степи. Было еще очень рано, так как обычно мы останавливались на ночевку уже часов в пять вечера, чтобы на завтра двинуться дальше с первым проблеском дня. Вскоре я встретил мисс Морис. Я тотчас спешился и, взяв коня в повод, приблизился к ней, счастливый, что могу хоть немного побыть с ней наедине. Я стал расспрашивать, какая причина побудила ее, такую молодую, отправиться одной в этот путь, истощающий силы самых здоровых мужчин.

— Я никогда бы не согласился, — сказал я, — принять вас в наш караван, но в первые дни я полагал, что вы дочь тетушки Аткинс, а теперь уж поздно возвращаться обратно. Но хватит ли у вас сил, дорогое дитя? Ведь вы должны быть готовы к тому, что дальнейший путь будет не таким легким, как до сих пор.

— Сэр! — ответила она, подымая свои голубые печальные глаза. — Я знаю это, но должна ехать и почти счастлива, что отступить уже нельзя. Мой отец находится в Калифорнии, и из письма, обошедшего мыс Горн, я узнала, что вот уже несколько месяцев он болен лихорадкой и лежит в Сакраменто. Бедный отец! Он привык к удобствам и к моим заботам — и лишь ради меня он уехал в Калифорнию. Не знаю, застану ли еще его в живых, но чувствую, что, отправляясь к нему, я только выполняю дочерний долг.

На эти слова нечего было возразить, да и все доводы, которые я мог бы привести против этого решения, были бы неуместны. Поэтому я только стал расспрашивать Лилиан подробнее о ее отце. Она рассказывала очень охотно. Я узнал, что мистер Морис был «Judges of the supreme court», то есть судьей верховного суда в Бостоне. Затем, потеряв состояние, он отправился на недавно открытые калифорнийские прииски, где надеялся восстановить утраченное богатство и вернуть дочери, которую любил больше жизни, ее прежнее положение в обществе. Но там он заболел лихорадкой в гнилой долине Сакраменто и, ожидая смерти, прислал Лилиан последнее благословение. Тотчас же, собрав все средства, оставленные ей отцом, она решила ехать к нему. Вначале она собиралась отправиться морем, но случайное знакомство с тетужкой Аткинс, за два дня до отправления в путь нашего каравана, изменило ее решение. А тетужка Аткинс была родом из Теннесси и наслушалась тех рассказов, которые мои приятели с берегов Миссисипи передавали всем и каждому о моих дерзких походах в пресловутый Арканзас, о моей опытности в путешествиях по прериям, а также о заботе, которой я окружал слабых (что и считал своим прямым долгом). Она-то и обрисовала меня перед Лилиан в таких красках, что, недолго думая, девушка присоединилась к каравану, выступавшему под моим начальством. Именно этим преувеличенным рассказам тетужки Аткинс, которая не преминула добавить, что я настоящий «knight», то есть прирожденный рыцарь, и следовало приписать интерес мисс Морис к моей персоне.

– Милое, нежное дитя! – сказал я, когда она кончила свой рассказ. – Можешь быть уверена, что никто здесь не причинит тебе зла и что в заботе о тебе недостатка не будет; что же до твоего отца, то Калифорния – это самый здоровый край на свете, и от калифорнийской лихорадки никто не умирает. Во всяком случае, пока я жив, ты не будешь одинока, и да благословит господь твое милое личико!

– Благодарю вас, капитан! – ответила она растроганно, и мы пошли дальше, только сердце мое забилося сильнее.

Беседа наша все более оживлялась, и никто из нас не предвидел, что через мгновение настроение наше внезапно омрачится.

– Но ведь все здесь к вам относятся хорошо, мисс Морис? – спросил я, не предполагая, что именно этот вопрос станет причиной недоразумения.

– О да! – ответила она. – Все! И тетужка Аткинс, и тетужка Гроссвенор, и Генри Симпсон – он тоже очень добрый.

Это упоминание о Симпсоне вдруг причинило мне боль, как укус змеи.

– Генри – погонщик мулов, – сухо ответил я, – и должен смотреть за повозками.

Но Лилиан, занятая течением собственных мыслей, не заметила перемены в моем голосе и продолжала, как бы разговаривая с собой:

– У него честное сердце, и я буду благодарна ему всю жизнь.

– Мисс! – прервал я ее тогда, крайне задетый этими словами. – Вы можете даже отдать ему свою руку, однако я удивлен, что вы избрали именно меня поверенным своих чувств.

Когда я сказал это, она с удивлением взглянула на меня, но ничего не ответила, и мы продолжали идти рядом в неловком молчании. Я не знал, что ей сказать, сердце

мое было полно горечи и досады на нее и на себя самого. Я чувствовал, что ревность к Симпсону мною целиком завладела, и я не мог ей воспротивиться. Ситуация показалась мне настолько невыносимой, что внезапно я сказал Лилиан коротко и сухо:

– Спокойной ночи, мисс!

– Спокойной ночи! – тихо ответила она, отвернув лицо, чтобы скрыть две слезы, катившиеся по ее щекам.

Я сел на коня и снова направился в ту сторону, откуда доносился звук топоров и где Генри Симпсон вместе с другими рубил хлопковые деревья. Но через мгновение меня охватила безмерная жалость. Мне казалось, будто эти две слезы упали на мое сердце. Я поворотил коня и вмиг снова оказался подле нее. Соскочив с седла, я преградил ей путь.

– Отчего вы плачете, Лилиан? – спросил я.

– О сэр! – ответила она. – Я знаю, что вы из знатного рода, мне это рассказала тетушка Аткинс. Но вы были так добры ко мне...

Она старалась не плакать, но не могла сдержаться, не могла договорить, так душили ее слезы. Бедняжка! Она чувствовала себя оскорбленной до глубины своей опечаленной души моим ответом, ибо видела в нем какую-то аристократическую надменность, а мне и не снился никакой аристократизм – я попросту ревновал, и теперь, когда я видел, как она опечалена, мне хотелось схватить себя за шиворот и поколотить. Я взял ее за руку и быстро заговорил:

– Лилиан, Лилиан! Ты меня не поняла. Бог свидетель, что не гордость говорила во мне. Гляди! Кроме этих двух рук, у меня больше ничего нет на свете. Что мне вся эта генеалогия! Мне стало больно по другой причине, и я хотел уйти, но не мог перенести твоих слез. И клянусь тебе также в том, что причина, о которой я говорю, терзает меня больше, чем тебя. Ты для меня не безразлична, Лилиан! О, вовсе нет! Ведь иначе мне было бы все равно, что ты думаешь о Генри. Он честный парень, но не в этом дело. Видишь, как меня огорчают твои слезы? Так прости меня так же искренне, как я прошу о прощении.

С этими словами я прижал ее руку к своим губам, и это высшее доказательство почтения, а также искренность, звучавшая в моей просьбе, немного успокоили девушку. Она не сразу перестала плакать, но то уже были другие слезы – сквозь них, как луч среди мрака, проглядывала улыбка. Мне тоже что-то сдавило горло, и я не мог сдержать волнения. Невыразимая нежность заполнила мое сердце. Мы снова шли молча, но нам было хорошо и сладостно. Тем временем солнце склонялось к закату, погода стояла великолепная, а в темнеющем воздухе было еще столько света, что вся степь, и далекие заросли, и повозки в нашем лагере, и вереницы диких гусей, тянущиеся на север, казались золотыми и розовыми. Ни одно дуновение ветра не шевелило траву; издали доносился шум водопадов, образованных в этом месте рекою Сидар, и ржание лошадей со стороны лагеря. Этот чарующий вечер, девственный край, присутствие Лилиан рядом со мной – все настраивало меня как-то так, что душе хотелось покинуть тело и улететь высоко-высоко, в самое небо. Я чувствовал себя колоколом, который раскачали. Минутами у меня появлялось желание еще раз взять руку Лилиан, прижать ее к губам и не отпускать долго-долго. Но я боялся, что это ее обидит. Меж тем она шла рядом со мной, спокойная, кроткая и задумчивая. Слезы ее уже высохли, временами она подымала на меня свои лучистые

глаза; мы снова начали разговаривать – и так дошли до лагеря.

Однако этому дню, столь богатому впечатлениями, предстояло закончиться весело. Переселенцы, радуясь хорошей погоде, решили устроить picnic, то есть гулянье под открытым небом. После ужина, более обильного, чем обычно, развели большой костер, у которого собирались устроить танцы. Генри Симпсон для этого очистил от травы площадку в несколько квадратных саженей и, утопав землю, как глиняный пол, посыпал ее песком, принесенным с Сидара. Когда зрители собрались на подготовленном таким образом месте, Симпсон под аккомпанемент негритянских дудок начал, ко всеобщему удовольствию, танцевать джигу. Руки у него были опущены, все тело неподвижно, а ногами он перебирал так быстро, ударяя о землю попеременно то каблук, то носком, что за их движением почти невозможно было уследить. Тем временем дудки неистовствовали, в круг вступил второй танцор, потом третий, четвертый – и веселье стало всеобщим. К неграм, играющим на дудках, присоединились и зрители, брэнча жестяными тазами для промывки золотоносного песка или отбивая такт кусочками бычьих ребер, зажатыми между пальцами обеих рук и издающими звук, подобный стуку кастаньет. Внезапно по всему лагерю пронесся возглас: «Певцов сюда!» Зрители образовали ring, или кольцо, вокруг танцевальной площадки, а на середину вышли негры – Джим и Кроу. Первый держал бубен, обтянутый змеиной кожей, а второй – упомянутые кусочки бычьих ребер. Минуту оба смотрели друг на друга, вращая белками глаз, а потом затаили негритянскую песню, то печальную, то буйную, прерываемую топотом и резкими телодвижениями. Протяжное «Дайна-а-а!», которым завершался каждый куплет, перешло в конце концов в крик, почти звериный вой. По мере того как танцоры разгорячались, их движения становились все иступленнее, и, наконец, они стали стучаться головами с такой силой, что европейские черепа, наверно, треснули бы, как ореховая скорлупа. Эти черные фигуры, освещенные ярким блеском огня и извивающиеся в безумных прыжках, представляли собой поистине фантастическое зрелище. К их выкрикам, к звукам бубна, дудок, жестяных тазов и щелканью костей примешивались возгласы зрителей: «Ура Джиму! Ура Кроу!» – и даже пистолетные выстрелы. Когда негры наконец устали и, пытая и отдуваясь, упали на землю, я велел дать им по глотку бренди, что сразу поставило их на ноги. Но затем люди потребовали, чтобы я произнес speech.[3] Вмиг утихли крики и музыка. Мне пришлось отпустить плечи Лилиан и, взобравшись на облучок повозки, обратиться к присутствующим с речью. Когда я смотрел с возвышения на эти фигуры, освещенные пламенем костров, на этих людей – рослых, широкоплечих, бородатых, с ножами за поясом и в шляпах с изорванными полями, – мне казалось, будто я нахожусь в каком-то театре либо что я предводитель шайки разбойников. Но это были честные, мужественные сердца, хотя многие из них, возможно, прожили жизнь бурную, полудикую, суровую. Мы как бы составляли здесь маленький мирок, оторванный от остального общества и замкнутый в себе, обреченный на общую участь и общую опасность. Здесь надо было идти плечом к плечу, каждый чувствовал себя братом другому, а бездорожье и бесконечная пустыня, окружавшая нас, побуждали этих закаленных рудокопов заботиться друг о друге. Вид Лилиан, бедной, беззащитной девушки, чувствующей себя спокойно и в безопасности среди них, словно под родительским кровом, внушил мне эти мысли, и я высказал их так, как чувствовал и как подобало военачальнику и одновременно сотоварищу в пути. Ежеминутно меня прерывали возгласами: «Ура поляку! Ура капитану! Ура Большому Ральфу!» – и хлопали в ладоши. И более всего обрадовало меня то, что я заметил среди сотен этих загорелых, крепких ладоней пару крошечных ручек, розовых от отблесков огня и порхающих, как пара белых голубок. Тогда я вдруг почувствовал, что нипочем мне пустыня, и дикие звери, и индейцы, и outlaw.[4] И с большой горячностью я воскликнул, что «справлюсь со всеми, поколочу всякого, кто станет мне поперек дороги, и поведу караван на край света – и пусть бог отымет мою правую руку, если это неправда». Ответом мне было

еще более громкое «ура!», и все с воодушевлением запели песню переселенцев: «I crossed Missisipi, I shall cross Missouri!»[5] Потом еще говорил Смит, старейший среди переселенцев, шахтер из окрестностей Питтсбурга, в Пенсильвании, он благодарил меня от имени всего обоза, причем восхвалял мое искусство вождения караванов. После Смита появились ораторы почти на каждой повозке. Некоторые говорили весьма забавно, например Генри Симпсон, который ежеминутно выкрикивал: «Пусть меня повесят, джентльмены, если я вру!» Когда наконец ораторы охрипли, снова зазвучали дудки, трещотки и снова начали плясать джигу. Тем временем наступила ночь, месяц выкатился на небо и засветил так ярко, что пламя костров побледнело от его сияния, а люди и повозки осветились двойным, красным и белым, светом. Это была прекрасная ночь. Шум в нашем лагере составлял странный, но приятный контраст тишине спящей глубоким сном прерии. Взяв Лилиан под руку, я ходил с ней по всему лагерю, и взгляд наш убежал вдаль от костров и терялся в волнах высоких и тонких стеблей степных трав, посеребренных лунными лучами и таинственных, как степные привидения. Так бродили мы вместе, а тем временем у одного костра два горца-шотландца (highlanders) начали играть на цитрах свою печальную горскую песню «Bonia Dundee». Мы встали поодаль и некоторое время слушали молча. Вдруг я взглянул на Лилиан, она опустила глаза – и, сам не знаю почему, я взял ее руку, опирающуюся на мою, и долго и крепко прижимал ее к моей груди. У бедной Лилиан сердечко тоже заколотилось так сильно, что я как будто почувствовал его в своей руке; мы оба дрожали, ибо поняли, что между нами что-то возникает, что-то преодолевается и теперь наши отношения будут не такими, как раньше. Но я уже плыл по воле волн. Я забыл, что ночь так светла, что недалеко от нас пылают костры, а вокруг них веселятся люди, мне хотелось тут же упасть к ее ногам или хотя бы смотреть в ее глаза. Лилиан тоже прижалась к моему плечу, но отворачивала при этом голову, как бы желая укрыться в тени. Я хотел заговорить и не мог, мне казалось, что голос мой зазвучит как чужой, а если я скажу Лилиан «люблю», то еще, пожалуй, и сам упаду. Робок я был, потому что был молод и руководил мною не столько рассудок, сколько сердце. И я отчетливо чувствовал, что если раз скажу «люблю», то на все мое прошлое падет завеса и одни двери закроются, а откроются другие, через которые я войду в какую-то неизведанную страну. Так что хоть и видел я за этой завесой счастье, все же я задержался на пороге – быть может, именно потому, что свет, льющийся оттуда, ослепил меня. К тому же когда любовь рвется не из уст, а из сердца, то, пожалуй, нет ничего другого, о чем было бы так трудно говорить.

Я осмелился прижать к груди руку Лилиан. Но мы оба молчали, потому что о любви я говорить не решался, а о чем-либо другом не хотел, да и нельзя было в такую минуту.

Окончилось все тем, что оба мы подняли головы к небу и смотрели на звезды, словно молясь. Потом меня позвали к большому костру; мы вернулись. Веселье кончилось, и, дабы завершить его достойно и чинно, переселенцы решили спеть перед сном псалмы. Мужчины обнажили головы, и, хотя среди нас были люди разных верований, все стали на колени в степную траву и запели псалом «Блуждая в пустыне». Это была трогательная картина. В паузах наступала такая торжественная тишина, что слышно было, как трещат искры, вылетающие из костров, и как шумят далекие водопады на реке. Стоя на коленях рядом с Лилиан, я раз-другой взглянул на нее: ее дивно блестящие глаза были подняты к небесам, волосы чуть-чуть рассыпались, и, набожно подпевая псалом, она была так похожа на ангела, что, право, можно было на нее молиться.

После молитвы люди разошлись по повозкам; я, как всегда, объехал дозоры, а потом также отправился отдохнуть. Но теперь, когда ночные мошки вновь запели у моих

ушей: «Лилиан! Лилиан!», я уже знал, что там, в повозке, спит зеница ока моего и душа души моей и что в целом свете у меня нет ничего дороже одной этой девушки.

III

На рассвете следующего дня мы благополучно переправились через Сидар и поехали по ровной обширной степи, простирающейся между этой рекой и Виннипегом, слегка уклоняясь к югу, чтобы приблизиться к полосе лесов вдоль границы штата Айова. Утром Лилиан не осмеливалась смотреть мне в глаза. Я видел, что она задумчива; казалось, она стыдится чего-то или чем-то огорчена; а какой же грех совершили мы вчера? Она почти совсем не сходила с повозки. Тетушка Аткинс и тетушка Гроссвенор, думая, что она нездорова, окружили ее заботами и вниманием. Лишь я один знал, что это значит и что здесь не болезнь, но и не терзания совести, а борьба невинного существа с предчувствием какой-то новой неведомой силы, которая схватит и понесет его, как листок, куда-то вдаль. Это было ясновидение, это было понимание того, что ничего уже не поделаешь и что раньше или позже придется покориться, и отдать себя на волю этой силы, и забыть обо всем – и только любить.

Чистая душа медлит и страшится на пороге любви, но слабеет, чувствуя, что уже переступает его. И Лилиан была как бы в оцепенении сна; у меня же, когда я понял все это, от радости просто дыхание в груди перехватило. Не знаю, можно ли назвать благородным это чувство, но, когда утром я пролетал на коне мимо повозки и видел ее, надломленную, как цветок, я испытывал нечто подобное чувству хищной птицы, знающей, что голубка от нее уж не скроется. И однако я не причинил бы этой голубке зла за все сокровища в мире, так как в сердце у меня была великая жалость. Но странное дело: несмотря на самое нежное чувство к Лилиан, этот день прошел для нас как бы во взаимной обиде или, во всяком случае, в большой озабоченности. Я ломал себе голову, как бы мне увидеть Лилиан хоть на минуту с глазу на глаз, и не мог ничего придумать. К счастью, мне пришла на помощь тетушка Аткинс, заявив, что малютка нуждается в движении, – сидеть в душном фургоне вредно для ее здоровья. Я подумал, что Лилиан полезно будет ездить верхом, и велел Симпсону оседлать для нее коня. Правда, в нашем караване не было дамского седла, но его отлично заменяло обычное мексиканское седло с высокими луками, которым повсюду пользуются женщины на границах пустыни. Я запретил Лилиан удалиться от каравана и терять его из виду. Заблудиться в однообразной степи было довольно трудно, потому что люди, которых я посылал за дичью, бродили на значительном расстоянии вокруг каравана и всегда можно было встретить кого-нибудь из них. Со стороны индейцев также опасность не угрожала: в эту часть прерий, вплоть до Виннипега, племя Поуни навевывалось только во время великой охоты, которая еще не началась. Другое дело – южная, примыкающая к лесам часть степи: она изобиловала дичью не только травоядной, так что там осторожность была бы не лишней. Правду сказать, я рассчитывал, что Лилиан, безопасности ради, будет держаться рядом со мной, а это позволило бы нам довольно часто бывать наедине, ибо в походе я обычно выезжал далеко вперед; передо мной ехали только два проводника-метиса, а за мной следовал весь караван. Так оно и получилось, и в первый же день я поистине чувствовал себя несказанно счастливым, глядя, как моя нежная амазонка легким галопом подъезжает ко мне со стороны каравана. От быстрой езды волосы ее рассыпались по плечам, а борьба с платицем, коротковатым для верховой езды, украсила ее лицо прелестной озабоченностью. Подъезжая ближе, она раздурманилась, как роза, она знала, что идет в сети, расставленные мною с той целью, чтобы мы остались вдвоем, – и, зная об этом, она все же шла, краснея и словно нехотя и пытаясь сделать вид, будто ни о чем не подозревает. У меня же сердце стучало, как у нашалившего мальчугана, и, когда наши лошади поравнялись, я злился на себя, потому что не знал, что сказать. И сразу же нас повлекло друг

к другу такое сладостное и сильное чувство, что я, движимый какой-то невидимой силой, склонился к Лилиан, словно для того, чтобы поправить что-то в гриве ее коня, а меж тем прильнул устами к ее руке, лежавшей на краю седла. Какое-то неведомое и невыразимое блаженство, больше и сильнее всех радостей, которые я испытал в жизни, разлилось по моим жилам. Потом я прижал к сердцу эту маленькую ладонь и начал говорить Лилиан, что, если бы бог даровал мне все царства на земле и все сокровища на свете, я не отдал бы за них единого завитка ее кудрей, потому что она овладела навсегда моей душой и телом.

– Лилиан, Лилиан! – говорил я. – Я никуда не отпущу тебя, и пойду за тобой через горы и пустыни, и буду целовать твои ноги, и молиться на тебя, только люби меня немного, только скажи мне, что я кое-что значу для твоего сердца.

И, говоря так, я думал, что грудь моя вот-вот разорвется, а Лилиан в величайшем смущении повторяла:

– О Ральф! Ты ведь знаешь! Ты все знаешь!

А я и сам не знал, смеяться или плакать, бежать или оставаться. Вот как теперь я жажду райского спасения, так тогда я чувствовал себя уже спасенным в раю, потому что у меня было все, чего я желал.

С тех пор, насколько позволяли мои обязанности начальника, мы все время были вместе. А обязанности эти с каждым днем приближения к Миссури уменьшались. Пожалуй, ни одному каравану не везло так, как нам в первые месяцы путешествия. Люди и животные привыкли к порядку и усвоили необходимые в пути навыки, так что я мог меньше следить за ними, а доверие, которое питали ко мне все, поддерживало в отряде отличное настроение. Притом обеспеченность продовольствием и хорошая весенняя погода пробуждали в людях веселье и укрепляли здоровье. Я ежедневно убеждался, что мой смелый замысел – вести караван не обычной дорогой на Сен-Луи и Канзас, а на Айову и Небраску – был весьма удачен. Там уже докучала невыносимая жара, и в нездоровом междуречье Миссисипи и Миссури от лихорадки и других болезней редели ряды путешественников. Здесь же более прохладный климат предохранял от болезней и уменьшал трудности пути.

Правда, дорога на Сен-Луи в своей начальной части была более безопасна, но мой караван, состоявший из двухсот тридцати человек, хорошо вооруженных и боеспособных, мог не бояться нападения индейцев, особенно из племен, населяющих Айову, ибо они чаще встречаются с белыми и лучше знают их силу, а потому не смеют нападать на превосходящие по численности отряды. Надо было только остерегаться *stampedas* – ночных нападений на мулов и лошадей, так как похищение ездовых животных ставит караван в отчаянное положение. Но защитой от этого были бдительность и опытность дозорных, которые в большинстве не хуже меня были знакомы с набегами индейцев.

Таким образом, введя походный порядок и приучив к нему людей, я имел днем несравненно меньше дел, чем вначале, и мог больше времени уделять чувствам, владевшим моим сердцем. Вечерами я отправлялся спать с мыслью: утром я увижу Лилиан; утром я говорил себе: сегодня я увижу Лилиан, – и с каждым днем я был все более счастлив и влюблен. Постепенно это начали замечать и люди из нашего каравана, но никто не отнесся к этому дурно, потому что оба мы – я и Лилиан – пользовались симпатией этих людей. Однажды старик Смит, проезжая мимо нас, воскликнул: «God bless you, captain, and you, Lilian!»[6] – и это соединение наших имен сделало нас счастливыми на целый день. Тетушка Гроссвенор и тетушка

Аткинс часто тогда шептали что-то на ухо Лилиан, отчего девушка краснела как маков цвет; однако никогда она не соглашалась рассказать мне, что они ей говорили. Только Генри Симпсон посматривал на нас угрюмо; возможно, он и замыслил что-нибудь против меня в душе, но я тогда не обращал на это внимания.

Каждый день с четырех часов утра я бывал уже в голове каравана. Проводники, едущие впереди меня тысячи на полторы шагов, пели песни, которым их обучали их матери-индианки; на таком же расстоянии позади меня двигался караван, как белая лента в степи. И какая дивная минута наступала для меня, когда, примерно в шесть утра, я внезапно слышал позади конский топот и видел: вот приближается она, зеница ока моего, моя любимая девушка, и утренний ветерок развеивает ее волосы, будто бы рассыпавшиеся от езды, а на самом деле нарочно плохо заколотые, потому что маленькая шалунья знала, что ей это идет, что мне нравится и что, когда ветер бросает ко мне ее косы, я их прижимаю к губам, я же делал вид, будто не понимаю этой хитрости. И вот таким сладостным ожиданием начиналось для нас каждое утро. Я научил ее говорить по-польски: «День добрый!», и, когда я слышал, как она произносит милым голосом эти слова, она казалась мне еще дороже. Воспоминания о родине, семье, о прошедших годах, обо всем, что было и прошло, перелетали тогда через пустыню, как чайка через океан, и часто хотелось мне рыдать, но я стыдился и, зажмуривая глаза, сдерживал готовые пролиться слезы. А она, видя, что хотя глаза мои полны слез, но сердце тает от счастья, повторяла как скворушка: «День добрый! День добрый! День добрый!» И как же было мне не любить моего милого скворушку больше всего на свете? Я учил ее еще другим фразам, и, когда она складывала губки, чтобы произнести наши трудные для нее звуки, я смеялся над ее неверным произношением. Тогда она, как ребенок, надувала губки, притворяясь, будто сердится. Но мы никогда не ссорились, и лишь однажды облачко промелькнуло между нами. Как-то утром я сделал вид, будто хочу затянуть ремешок на ее стремени, а на самом-то деле пробудился во мне повеса-улан былых лет, и я начал целовать ее ножку и бедный, стоптанный в пустыне башмачок, который я не променял бы на все царства в мире. Тут она, прижимая ножку к лошадиному боку и повторяя: «Нет, Ральф! Нет! Нет!» отскочила в сторону. Хотя потом я просил прощения и успокаивал ее, но она не желала приблизиться ко мне. Правда, Лилиан все же не уехала тогда к повозкам, не желая меня обидеть. А я изобразил на своем лице скорбь во сто раз большую, чем на самом деле испытывал, и, погруженный в молчанье, ехал с видом человека, для которого все на свете кончено. Я знал, что в ней зашевелится жалость. И в самом деле, вскоре, обеспокоенная моим молчанием, она подъехала поближе и стала заглядывать мне в глаза, как дитя, желающее узнать, сердится ли еще мама. Как ни старался я сохранить скорбный вид, но мне приходилось отворачиваться, чтобы не рассмеяться вслух... Но так было только раз. Обычно мы веселились, как степные белки, а временами (боже, прости меня, грешного!) я, начальник всего каравана, превращался при ней в ребенка. Сколько раз, когда мы спокойно ехали рядом, я вдруг, бывало, поворачивался к ней и говорил, что хочу сказать нечто важное и новое, а когда она подставляла любопытное ушко, шептал ей: «Люблю». И она потом, тоже краснея, отвечала мне на ухо с улыбкой: «Also!», что означало: «Я тоже». Эту тайну поверяли мы друг другу шепотом в пустыне, где один лишь ветер мог нас слышать!

Дни летели за днями так быстро, что мне казалось, будто утро и вечер соединяются, как звенья в цепи. Лишь порой какое-нибудь дорожное приключение нарушало это приятное однообразие. Как-то в воскресенье метис Вихита поймал своим лассо антилопу крупной породы, называемой в степях disk, и ее детеныша. Я подарил его Лилиан, а та смастерила для него ошейник с колокольчиком из упряжки мула. Мы дали козочке имя Кэтти. За неделю она освоилась и стала есть из наших

рук. Бывало, во время похода я ехал по одну сторону от Лилиан, а по другую бежала Кэтти, беспрестанно подымая на нее свои большие черные глаза, и блеяла, прося приласкать ее.

За Виннипегом мы вступили в ровную, как стол, девственную степь, просторную, заросшую богатой растительностью. Временами проводники скрывались из наших глаз в травах и кустарниках, а кони брели, как в волнах. Я знакомил Лилиан с этим совершенно неизвестным ей миром, а когда она восхищалась его красотами, я был горд, что ей так нравится мое царство. Была весна, примерно конец апреля, то есть пора самого буйного роста трав и всякого зелья. Все, что должно было цвести в этой пустыне, уже расцвело.

По вечерам из степи, словно из тысяч кадилниц, плыли упоительные ароматы, а днем, когда подымался ветер, раскачивая всю цветущую равнину, глаза болели от мелькания красного, голубого, желтого и всевозможных других красок. Из густого нижнего слоя трав вздымались тонкие стебли желтых цветов, похожих на наш царский скипетр; возле них вилось серебристое невзрачное растение под названием «tears» – «слезы»; его соцветие состоит из прозрачных шариков, действительно напоминающих слезы. Мой взор, приученный читать в степи, как в книге, всякий раз открывал знакомые мне растения: то большие листья калумна, излечивающего раны, то белые и красные цветы степной мимозы, закрывающей чашечки при приближении зверя или человека, то, наконец, индейские топорики, запах которых вызывает сон и даже обморок. Я учил Лилиан читать в этой божьей книге и говорил:

– Тебе, любимая, придется жить среди лесов и степей, так узнай же хорошенько их заранее.

Местами на степной равнине вздымались, как оазисы, группы хлопковых деревьев и елей, так увитых диким виноградом и лианами, что их не видно было под завитками и листьями. А по лианам еще вились плющ, повилка и колючая вахтия, похожая на дикую розу. Все это было усыпано цветами, а внутри, под двойной цветочной и лиственной завесой, царил таинственный сумрак; под стволами, в темноте, дремали большие лужи весенней воды, которую не сумело выпить солнце, а с верхушек деревьев из цветочных гирлянд доносились необычные голоса и крики птиц. Когда я впервые показал Лилиан такие деревья и эти каскады свисающих цветов, она остановилась как вкопанная и только повторяла, сложив ладони:

– О Ральф! Неужели это правда?

Она призналась, что ей немного страшно войти туда, но однажды в полдень, когда стоял сильный зной и над степью пролетало дыхание горячего тexasского ветра, мы зашли вдвоем вглубь и с нами Кэтти.

Остановясь над небольшим озером, в котором отражались наши фигуры и лошади, мы минуту стояли молча. Там было холодно, мрачно и торжественно, как в готическом соборе, и чуточку страшно. Дневной свет едва проникал сюда и был зеленым из-за листвы. Какая-то птица, скрытая под куполом лиан, кричала: «Но-но-но!», как бы предостерегая, чтобы мы не шли дальше. Кэтти начала дрожать и прижиматься к лошадям, а мы с Лилиан вдруг оглянулись, и наши уста впервые встретились, а встретясь, уже не могли расстаться. Она пила мою душу, я пил ее душу, и нам уже не хватало дыхания, а уста все еще были слиты с устами. Наконец ее глаза затуманились и руки, лежавшие на моих плечах, задрожали, как в лихорадке. Охваченная каким-то самозабвением, она ослабела и положила голову мне на грудь. Мы оба опьянели от счастья и восторга. Я не смел шевельнуться, но душа моя была

полна, я любил ее во сто раз больше, чем можно выразить или даже вообразить, и я лишь подымал глаза ввысь, чтобы увидеть небо среди густой листвы.

Очнувшись от упоения, мы снова выбрались из зеленой чащи в открытую степь, где нас залило ярким светом и теплым ветерком, и перед нами раскрылись привычные, обширные и радостные просторы. Степные курочки шмыгали вокруг в траве.

На небольших возвышенностях, продырявленных, как сито, земляными белками, стояли отряды этих зверюшек; при нашем приближении они исчезали под землей. Впереди виднелся караван и кружившие у повозок всадники.

Мне казалось, будто мы вышли из темной комнаты на белый свет, то же, видимо, чувствовала и Лилиан. Но меня радовала ясность дня, а ее этот избыток золотого света и воспоминание об упоении наших поцелуев, следы которых еще были заметны на ее лице, наполняли смутной тревогой и печалью.

– Ральф, не думаешь ли ты обо мне дурно? – внезапно спросила она.

– Что ты, моя дорогая! Пусть бог меня забудет, если в моем сердце есть к тебе иное чувство, кроме преклонения и величайшей любви.

– Ведь это случилось потому, что я очень сильно люблю! – сказала она. Тут губки ее задрожали, она тихо заплакала, и хотя я готов был душу отдать, чтобы ее успокоить, она оставалась весь день печальной.

IV

Наконец мы достигли Миссури. Индейцы обычно выбирали для нападений на караваны момент переправы через эту реку, потому что труднее всего защищаться, когда часть повозок осталась на одном берегу, а часть находится на реке, когда мулы и лошади встают на дыбы и упираются, а люди не знают, что им делать. Я видел по пути к реке, что индейцы-разведчики два дня следовали за нами, поэтому я принял все меры предосторожности и вел обоз по-военному. Я не разрешал повозкам растягиваться по степи, как на восточных окраинах Айовы; все наши люди должны были держаться вместе и быть в полной боевой готовности. Подъехав к берегу и отыскав брод, я приказал отрядам, разбив их по шестьдесят человек, окопаться на обоих берегах, чтобы под прикрытием небольших валов и дул карабинов обеспечить переправу. Остальным ста десяти переселенцам предстояло переправить повозки. Я выпускал не более двух-трех повозок за раз, чтобы избежать суматохи. Благодаря этому все проходило в наилучшем порядке, и нападение оказалось невозможным: ведь нападающим пришлось бы сперва овладеть одним из окопов, прежде чем ринуться на тех, кто был на реке. Эти предосторожности не были лишними – нас убедили в этом дальнейшие события, ибо двумя годами позже четыреста немцев были изрублены все до единого индейцами племени Кайавата во время переправы в том месте, где теперь стоит город Омаха. Я же извлек сейчас еще и ту пользу, что люди мои, наслышавшиеся доходящих до Востока рассказов о страшных опасностях переправы через желтые воды Миссури, увидели, как уверенно и легко я справляюсь с этой задачей, и они прониклись слепым доверием ко мне, видя во мне чуть ли не духа-властителя этой пустынной земли.

Похвалы и восторги ежедневно слышала и Лилиан, и в ее влюбленных глазах я стал сказочным героем. Тетушка Аткинс сказала ей: «Пока your Pole[7] будет с тобой, можешь спокойно спать хоть в бурю, потому что и дождь тебя не замочит». А у моей девочки от этих похвал сердце наполнялось гордостью. Однако во время переправы я не мог уделить ей почти ни одной минуты и только мимолетными взглядами говорил

ей обо всем, чего не могли сказать уста. Целыми днями был я на коне то на одном берегу, то на другом, то в воде. Я стремился поскорее уйти от этих вязких желтых вод, несущих гнилые пни, кучи листьев, травы и зловонный дакотский ил, который распространяет лихорадку.

К тому же люди были крайне утомлены непрерывным бодрствованием, а лошади болели от нездоровой воды, которую мы могли пить не иначе, как прокипятив ее несколько часов на огне. Наконец через восемь дней мы все были на правом берегу, не сломав ни одной повозки и потеряв только семь мулов и лошадей. Но в тот же день грянули первые выстрелы: мои люди убили, а затем, по отвратительному обычаю дикарей, скальпировали трех индейцев, которые пытались проникнуть к стоянке мулов. Из-за этого случая вечером следующего дня к нам явилось посольство из шести старших воинов племени Кровавых Следов, принадлежащего к ветви Поупи. Усевшись с мрачной торжественностью у наших костров, они потребовали в виде возмещения мулов и лошадей, заявляя, что в случае отказа на нас немедленно нападут пятьсот воинов. Но эти пятьсот воинов не слишком-то пугали меня: обоз был уже переправлен и защищен окопами. Мне было ясно, что посольство это прислано лишь потому, что дикари ухватились за первый повод выторговать себе кое-что без боя, в успешность которого они уже не верили. И я сразу же прогнал бы их, если бы не хотел устроить интересное зрелище для Лилиан. И вот пока они неподвижно сидели у костра совета, вперив глаза в огонь, она, прячась за повозкой, смотрела с тревогой и любопытством на их одежду, обшитую по швам человеческими волосами, на топорики, украшенные по рукояткам перьями, и на лица в черных и красных разводах – знак приготовления к войне. Несмотря на эти приготовления к войне, я решительно отверг их требования и, перейдя из обороны в наступление, заявил, что, если пропадет хоть один мул из лагеря, я сам доберусь до них и разметая кости их пятисот воинов по всей степи. Они ушли, с трудом сдерживая ярость; удаляясь, они подбросили над головой свои топорики в знак объявления войны. Все же сказанные мной слова остались у них в памяти, а когда в момент их ухода двести моих людей, нарочно подготовленных, внезапно поднялись с угрожающим видом и, бряцая оружием, издали воинственный клич, эта готовность произвела на диких воинов глубокое впечатление.

Несколько часов спустя Генри Симпсон, который вызвался проследить за послами, вернулся, весь запыхавшийся, с вестью, что большой отряд индейцев приближается к нам. Во всем лагере лишь я один, хорошо зная нравы индейцев, понимал, что это пустые угрозы: их было слишком мало, чтобы со своими луками из дерева гикоро выступить против кентуккских дальнобойных ружей. Я сообщил это Лилиан, желая ее успокоить, потому что она дрожала за меня. Но все прочие были убеждены в неизбежности боя, а молодежь, в которой пробудился воинственный дух, страстно его желала. И впрямь мы услышали вскоре вой краснокожих, но они остановились на расстоянии в десяток с лишним выстрелов, как бы выжидая удобного момента. Всю ночь в нашем лагере пылали большие костры из хлопчатника и миссурийской лозы; мужчины охраняли повозки; женщины, борясь со страхом, пели псалмы; мулы, которых не вывели, как обычно, на ночное пастбище, окруженные повозками, визжали и кусали друг друга; собаки выли, чуя близость индейцев. Словом, во всем обозе было шумно и тревожно. В короткие мгновения тишины мы слышали жалобно-зловещий вой индейских часовых, подражавших койотам в своей перекличке. Около полуночи индейцы попытались поджечь прерию, но, хотя уже несколько дней не выпадало ни капли дождя, влажная весенняя трава не загоралась.

Лишь под утро, объезжая посты, я сумел на минутку приблизиться к Лилиан. Усталость ее сморила, она спала, положив головку на колени славной тетушки Аткинс, которая, вооружась кухонным ножом, поклялась, что уничтожит целое племя

Кровавых Следов, прежде чем кто-либо из них посмеет приблизиться к ее любимице. А я, глядя на это хорошенькое сонное личико с любовью мужской и в то же время почти материнской, чувствовал, подобно тетушке Аткинс, что разорвал бы на куски каждого, кто посмел бы угрожать моей любимой. В ней была моя радость, мое счастье, а без нее осталось бы одно бродяжничество, бесконечные скитания и превратности. Доказательства были налицо: степь вдали, звук оружия, ночи в седле, стычки и хищные краснокожие разбойники. А здесь, подле меня, – тихий сон милого существа, гордящегося мной и доверяющего мне. Ведь достаточно было одного моего слова, чтобы она поверила, что нападения не будет, и уснула беспечно, словно под родительским кровом.

Когда я представил себе эти две картины, то впервые почувствовал, как измучила меня авантюрная жизнь без завтрашнего дня, и понял, что покой и тишину я найду лишь подле Лилиан. «Только бы добраться до Калифорнии! Только бы добраться! – думал я. – Да, только бы нам одолеть трудности всего этого пути, более легкая половина которого, уже пройденная нами, успела наложить свой отпечаток на это бледное личико. А там нас ждут прекрасный край изобилия, теплые небеса и вечная весна!» Размышляя так, я прикрыл ноги спящей своим плащом, чтобы уберечь ее от ночного холода, и вернулся на край площадки. От реки подымался туман, такой густой, что индейцы действительно могли бы им воспользоваться и попытаться счастья. Костры все более меркли и бледнели, а час спустя в десяти шагах уже не видно было человека. Тогда я приказал часовым ежеминутно перекликаться, и вскоре вокруг только и слышалось протяжное: «All's well!», которое, подобно словам литании, переходило из уст в уста. Зато лагерь индейцев совершенно затих, будто люди там онемели, и это начинало меня беспокоить. С первым проблеском зари нами овладела невероятная усталость, так как одному богу известно, сколько ночей многие из нас провели без сна. К тому же на диво едкий туман пронизывал нас холодом и дрожью.

Я рассудил, что, чем стоять на месте и ждать, пока индейцы что-нибудь надумают, лучше ударить по ним и разогнать их на все четыре стороны. Это была не удаля улана, а скорее настоятельная необходимость. Смелая и успешная атака могла нам принести громкую славу, которая распространилась бы среди диких племен и обеспечила бы нам безопасность на большей части пути. Поэтому, оставив за бруствером сто тридцать человек под началом опытного степного волка Смита, я велел другой сотне сесть на коней, и мы двинулись вперед, немного, пожалуй, наугад, но с большим рвением, так как холод досаждал все сильнее, а тут можно было хоть согреться. На расстоянии двух выстрелов мы ринулись с криком в галоп и, стреляя, как вихрь налетели на лагерь дикарей. Какая-то пуля неловкого стрелка, пущенная с нашей стороны, просвистела у самого моего уха, но только сбила с меня шапку. Тем временем мы уже насели на индейцев, видно ожидавших чего угодно, только не нападения; наверно, это был первый случай, когда путешественники сами нападали на осаждающих. Их обуяло такое смятение, что они разбежались в беспорядке во все стороны, воя, как дикие звери, от испуга и погибая без сопротивления. Один лишь небольшой отряд, прижатый к реке, увидев, что бежать некуда, защищался так яростно и упорно, что воины предпочитали бросаться в реку, чем просить пощады.

Их копыта с наконечниками из острых оленьих рогов и томагавки из кремня были не такими уж грозными, но они владели ими очень ловко. Однако мы одолели их в мгновение ока, и я сам взял в плен какого-то рослого бездельника, которому в пылу сражения сломал и руку вместе с топориком. Мы захватили несколько десятков лошадей, но они оказались такими дикими и злыми, что пользы от них не было никакой. Пленных, включая раненых, мы взяли около двадцати человек. Я приказал

тщательно их обыскать и затем, подарив им, по просьбе Лилиан, одеяла, оружие, а для тяжелораненых и лошадей, я отпустил их на свободу. Бедняги были убеждены, что мы их привяжем к столбу пыток, и начали было уже бормотать свои монотонные предсмертные песни; поэтому они сперва просто перепугались. Они думали, что мы их отпускаем только для того, чтобы, по индейскому обычаю, устроить на них охоту. Но, видя, что им на самом деле ничего не угрожает, они ушли, прославляя наше мужество и доброту Белого Цветка – так они окрестили Лилиан.

Однако этот день завершился печальным происшествием, омрачившим нашу радость от большой победы и ее ожидаемых последствий. Среди моих людей убитых не было, но свыше десяти человек получили более или менее тяжелые ранения. Тяжелей всех был ранен Генри Симпсон, по своей горячности слишком увлекшийся в схватке. Вечером его состояние ухудшилось, началась агония; он силился сделать мне какое-то признание, но бедняга не мог уже говорить, потому что щека его была рассечена топором. Он лишь пробормотал: «Pardon, my captain», [8] и у него начались конвульсии. Я догадался, что именно он хотел мне сказать, ибо вспомнил пулю, просвистевшую утром у моего уха, и простил ему, как подобает христианину. Знал я также, что он уносит с собой в могилу глубокое, хотя и невысказанное, чувство к Лилиан и что он, возможно, сознательно искал смерти. Он умер в полночь, похоронили мы его под огромным деревом хлопчатника, на коре которого я вырезал ножом крест.

V

На следующий день мы двинулись дальше. Перед нами расстилалась еще более обширная, более ровная и дикая степь – край, куда почти не ступала нога белого: словом, мы были в Небраске. В первые дни мы продвигались по этой безлесной местности довольно быстро, но все же не без трудностей: у нас совсем не было топлива. Берега реки Платт, пересекающей эти бескрайние равнины, покрыты, правда, густыми зарослями лозы и ивы; но река, текущая в низких берегах, была тогда, как и всегда весной, в разливе, и нам приходилось держаться от нее подальше. Ночи мы проводили у жалких костров из буйволового навоза, недостаточно высушенного солнцем, – он не горел, а скорее тлел голубоватым огоньком. Так, затратив много усилий, мы пробирались к Биг-Блю-Ривер, берега которой изобилуют топливом. Местность эта и впрямь была девственным краем. То и дело перед караваном, ехавшим теперь более сомкнутой цепью, разбегались стада антилоп – рыжеватых, с белой шерстью на брюхе; временами из моря трав появлялась чудовищная лохматая голова буйвола с налитыми кровью глазами и дымящимися ноздрями, а на горизонте виднелись многочисленные стада, похожие на черные движущиеся точки.

Кое-где на нашем пути мы видели целые города могильных курганов, засыпанных песками.

Индейцы не показывались, лишь через несколько дней мы впервые заметили трех диких наездников, украшенных перьями, но и они сразу же скрылись из наших глаз, исчезнув, как привидения. Впоследствии я убедился, что кровавый урок, данный им на берегу Миссури, сделал имя Биг-ара (так они переделали Биг Ральф) страшным для степных грабителей из многих племен, а наше великодушие по отношению к пленникам покорило этих людей, диких и злобных, но не лишенных рыцарских чувств.

Прибыв к Биг-Блю-Ривер, я решил остановиться дней на десять у ее лесистых берегов. Вторая половина пути, ожидавшая нас, была труднее первой, так как за степями находились Скалистые горы, а дальше – «злые земли» Юты и Невады, а наши мулы и лошади, несмотря на обилие корма, притомились и исхудали; необходимо было

восстановить их силы более длительным отдыхом. С этой целью мы разбили лагерь в треугольнике, образованном реками Биг-Блю и Бивер-Крик, то есть Бобровым Ручьем. Удобная позиция, защищенная с двух сторон руслами рек, а с третьей – повозками, была почти неприступной, а дров и воды было достаточно тут же, на месте. Работы в лагере почти не было никакой, особой бдительности не требовалось, и люди могли вполне свободно распоряжаться своим досугом. Это были лучшие дни за все время нашего путешествия. Погода стояла великолепная, а ночи были такими теплыми, что люди спали под открытым небом.

Охотники выходили по утрам и возвращались в полдень, отягощенные добычей – антилопами и степными птицами, которые кишели в окрестностях миллионами. Остаток дня все проводили за едой, сном и песнями или стреляли для потехи в диких гусей, пролетавших над лагерем большими стаями.

Во всей моей жизни не было более прекрасного и счастливого времени, чем эти десять дней. Мы с Лилиан не расставались ни на минуту с утра до вечера; это было как бы начало нашей совместной жизни вместо прежних мимолетных свиданий, и я все сильнее убеждался, что навеки полюбил это кроткое, милое создание. Я теперь ближе и лучше узнал ее. Часто ночью, вместо того чтобы спать, я размышлял, почему она стала мне дорога и необходима как воздух. Видит бог, я сильно любил ее прелестное лицо, ее длинные косы, глаза, такие голубые, как небо над Небраской, и ее стройную и гибкую фигуру, казалось говорившую: поддержи и охраняй меня вечно, без тебя я не проживу на свете! Видит бог, я любил все, что ей принадлежало, каждое ее жалкое платьице, – и так меня влекло к ней, что, право, я не мог с собой совладать. Но была в ней для меня еще иная прелесть – ее кротость и нежность. Много женщин видел я в жизни, но такого ангела не встречал и не встречу никогда, и неизбывная печаль охватывает меня, когда я думаю об этом. Душа ее была нежна, как цветок, свертывающий лепестки, когда к нему приближаются.

Она отвечала чувством на каждое мое слово, и каждая моя мысль отражалась в ней, как в глубокой прозрачной воде отражается все, что ни появится над нею. К тому же эта чистая душа уступала своему чувству с такой стыдливостью, что я понимал, как сильна должна быть ее любовь, если она ей покоряется! И все благоговение, какое только может быть в мужском сердце, превращалось у меня в бесконечную благодарность к ней. Она была моей единственной, моей самой дорогой в мире, и была она так удивительно целомудренна, что мне надо было убеждать ее, что любить не грешно, и я ломал себе голову, как убедить ее в этом. В таких переживаниях шли для нас дни в этом междуречье, где в конце концов я достиг моего высшего блаженства. Однажды на рассвете мы пошли на прогулку вверх по Бивер-Крик. Мне хотелось показать ей бобров, целый город, процветавший не далее как в полумиле от нашего лагеря. Осторожно идя по берегу среди зарослей, мы вскоре оказались у цели. Там был не то заливчик, не то маленькое озерцо, образованное ручьем. Неподалеку от воды стояли два больших дерева гикоро, а над самыми берегами росли ивы, и ветви их наполовину утопали в воде. Плотина, построенная бобрами немного выше по течению, преграждала бег ручья и поддерживала воду в озере на постоянном уровне; на светлой поверхности озера выделялись куполообразные домики этих хитроумных зверюшек.

Нога человека, наверно, никогда не ступала в этот уголок, со всех сторон закрытый деревьями. Осторожно раздвинув тонкие ивовые ветви, мы смотрели на зеркально гладкую голубую воду. Бобры еще не принялись за работу; водяной городок, видимо, спал спокойно, и над заводью царил такая тишина, что я слышал дыхание Лилиан. Ее золотистая головка, наклоняясь между ветвями, касалась моего

виска. Я обнял девушку, поддерживая ее на покато берегу, и мы терпеливо ожидали, упиваясь тем, что видели наши глаза. Привыкнув к жизни в пустыне, я любил природу, как родную мать, и, не мудрствуя, чувствовал, что в ней заключена божественная радость жизни.

Было раннее утро, заря только еще показалась между ветвями гикоро и румянила небо, по листьям ив стекала роса. С каждой минутой становилось все светлей. Вот на противоположном берегу появились степные курочки, серые с черной шейкой и хохолком на головке: они пили воду, задирая клювики вверх. «Ах, Ральф! Как здесь хорошо!» – шептала мне Лилиан. А у меня была лишь одна мечта – какая-нибудь хижина в далеком каньоне, Лилиан и вереница спокойных дней, тихо уносящих нас в вечность, к последнему успокоению. Нам казалось тогда, что в эти радости природы мы внесли и нашу радость, в ее спокойствие – наше спокойствие и в ее рассвет – рассвет нашего счастья, рождавшегося в наших сердцах. Меж тем ровная гладь покрылась кругами и из воды медленно показалась усатая мокрая и розовая от утренней зари голова бобра, за ней вторая, и двое зверьков поплыли к плотине, рассекая мордами голубое зеркало, фыркая и урча. Взойдя на плотину и усевшись на задние лапки, они начали пищать; на этот призыв, как по волшебству, вынырнули большие и маленькие головы. По всему озеру пошел плеск. Сначала стая лишь забавлялась, купалась и верещала от удовольствия, но первая пара бобров, наблюдая с плотины, вдруг издала ноздрями протяжный свист, и в мгновение ока половина стада очутилась на плотине, а вторая половина поплыла к берегам и исчезла под бахромой ив, где вода начала волноваться, и звук, похожий на звук пилы, показал, что зверьки и там работают, отделяя от стволов ветки и кору.

Долго-долго смотрели мы с Лилиан на повадки и забавы зверей, которым еще не испортил жизнь человек. Вдруг Лилиан, желая немного повернуться, нечаянно задела ветви – и вмиг все исчезло. Только колебание воды показывало, что в ней кто-то есть; но через минуту вода успокоилась, и снова нас объяла тишина, прерываемая лишь стуком дятлов о твердую кору гикоро.

Тем временем солнце поднялось над деревьями и начало пригревать сильнее. Так как Лилиан еще не устала, мы решили обойти заводь. По дороге мы встретили другой маленький ручей, пересекавший лес и впадавший в заводь с противоположной стороны. Лилиан не могла перейти ручья, и мне пришлось перенести ее. Несмотря на сопротивление, я взял ее, как ребенка, на руки и вошел в воду. Но этот ручей был для нас ручьем искушений. Боясь, как бы я не упал, Лилиан охватила мою шею обеими руками и прижалась ко мне изо всех сил, пряча свое пристыженное лицо за моим плечом, а я стал целовать ее висок, шепча: «Лилиан! Моя Лилиан!» И так я нес ее через ручей. Ступив на другой берег, я захотел нести ее дальше, но она вырвалась от меня почти силой. Обоих нас охватило какое-то беспокойство. Она начала озираться словно в испуге, и лицо ее то бледнело, то краснело. Мы шли дальше. Я взял ее руку и прижал к сердцу. Минутами я боялся самого себя. Становилось жарко; с неба на землю плыл зной, ветер не веял, листья гикоро свисали неподвижно. Дятлы, как и прежде, стучали по коре, но казалось, что все засыпает и слабеет от зноя. Я подумал было, что в этом воздухе и в этом лесу есть какие-то чары. А потом уже я думал только о том, что рядом со мной Лилиан и что мы одни. Тем временем она почувствовала усталость: дыхание ее становилось все учащенней и прерывистей, а на лице, обычно бледном, выступил яркий румянец. Я спросил, не устала ли она и не хочет ли отдохнуть. «О нет, нет!» – быстро ответила она, словно обороняясь от одной этой мысли, но через несколько шагов вдруг пошатнулась, шепча:

– Я не могу... Правда, я не могу идти дальше!

Тогда я снова взял ее на руки и с этой драгоценной ношей спустился к берегу, где ивовые ветви, свисая до земли, образовали как бы тенистые ниши. В таком зеленом алькове, положив ее на мох, я стал перед ней на колени, но, когда я посмотрел на нее, сердце мое сжалось. Ее лицо побледнело как полотно, а расширенные глаза смотрели на меня с испугом.

– Лилиан, что с тобой, дорогая? – воскликнул я. – Это я с тобой...

Говоря так, я склонился к ее ногам и осыпал их поцелуями.

– Лилиан! – говорил я. – Моя единственная, избранная моя, жена моя!

Когда я произнес это последнее слово, дрожь охватила ее с ног до головы, и вдруг, будто в лихорадке, с необычной силой она закинула руки мне на шею, повторяя: «My dear, my dear, my husband!»[9] – и потом все исчезло, и мне казалось, что весь земной шар падает куда-то вместе с нами...

Уж не знаю теперь, что со мной было, но знаю, что, когда я очнулся от упоения и пришел в себя, между черными ветвями гикоро снова светилась заря, но уже вечерняя. Дятлы перестали стучать, заря из озера улыбалась другой заре на небе, обитатели озера уснули, вечер был прекрасный, тихий, наполненный красноватым светом. Пора было возвращаться в лагерь. Когда мы покинули сень плакучих ив, я глянул на Лилиан: в ее лице не было ни грусти, ни беспокойства, только в глазах, поднятых к небу, светилась тихая покорность, а ее ангельскую головку словно окружал лучистый нимб жертвенности и серьезности. Когда я подал ей руку, она спокойно склонила голову на мое плечо и, не сводя глаз с неба, сказала:

– Ральф, повтори мне, что я твоя жена, и повторяй это часто.

И так как ни в пустыне, ни там, куда мы шли, не было других браков, кроме союза любящих сердец, я опустился на колени в этом лесу и, когда она опустилась рядом со мной, произнес:

– Перед небом, землей и богом! Заявляю тебе, Лилиан Морис, что беру тебя в свои супруги. Аминь!

На что она ответила:

– Теперь я твоя навсегда, до смерти. Твоя жена, Ральф!

С этой минуты мы были обвенчаны. Отныне она была уже не моей возлюбленной, а законной женой. И было обоим нам хорошо от этой мысли. Как хорошо было мне! В сердце моем пробудилось новое чувство какого-то священного уважения к Лилиан и к себе самому, какого-то внутреннего достоинства и значительности, благодаря чему любовь наша стала благородной и достойной благословения. Рука об руку, с поднятой головой и смелым взглядом мы вернулись в лагерь, где о нас уже сильно беспокоились. Человек десять разъехалось в разные стороны искать нас, и позже я с удивлением узнал, что некоторые из них проходили мимо озера, но не заметили нас, а мы не слышали их зова. Чтобы не было кривотолков, я созвал всех, и, когда люди собрались, торжественно вышел на середину, взяв Лилиан за руку, и сказал:

– Джентльмены! Будьте свидетелями, что в вашем присутствии я называю эту женщину, стоящую рядом со мной, женой моей. И так и свидетельствуйте перед

судом, законом и перед каждым человеком, который об этом вас спросит на Западе или на Востоке.

– All right – and hurra for you both![10] – ответили переселенцы. Затем, по обычаю, старый Смит спросил Лилиан, согласна ли она взять меня в свои мужа, и, когда она ответила: «Да», мы были уже законно повенчаны и перед людьми. В далеких прериях Запада и на всех окраинах, где ни городов нет, ни судов, ни церквей, бракосочетание совершается только таким образом, и до сей поры во всех Штатах достаточно мужчине назвать женщину, с которой он обитает под одной крышей, своей женой, чтобы это заявление заменило все юридические документы. Поэтому никто из моих людей не удивлялся происходящему, и на наше бракосочетание все смотрели с серьезностью, соответствующей обычаю. Все были рады. Ибо хотя я и обращался с ними несколько более сурово, чем другие предводители караванов, но они понимали, что я это делаю для их добра, и с каждым днем они относились ко мне всё лучше, а жена моя всегда была любимицей всего каравана. Вскоре начались торжество и веселье. Разожгли костры; шотландцы достали из повозок свои цитры, звук которых нравился нам обоим, пробуждая в нас дорогие нам воспоминания; американцы взялись за свои излюбленные костяные трещотки, и наш свадебный вечер проходил среди песен, криков и стрельбы. Тетушка Аткинс то плакала, то смеялась, ежеминутно заключала Лилиан в свои объятия, то и дело зажигала свою гаснущую трубку. Более всего растрогал меня следующий обряд, вошедший в обычай этих непоседливых жителей Штатов, проводящих большую часть жизни на колесах. Когда зашла луна, мужчины насадили на шомполы карабинов пучки зажженных прутьев, и целая процессия во главе со стариком Смитом водила нас от одной повозки к другой, спрашивая у Лилиан: «Is this your home?»[11] Моя прелестная подруга отвечала: «No!» – и мы шли дальше. У повозки тетушки Аткинс истинное умиление охватило всех, так как здесь до сих пор жила Лилиан. Когда же и здесь она тихо ответила: «No!», тетушка Аткинс зарычала, как буйвол, и, схватив Лилиан в объятия, стала повторять: «My little! My Sweet!», [12] плача при этом навзрыд. Плакала и Лилиан, и тут все эти закаленные сердца на миг оттаяли, и у всех на глазах показались слезы. Когда мы подошли к моей повозке, я едва узнал ее, так была она украшена зеленью и цветами. Тут мужчины высоко подняли пылающие связки прутьев, а Смит спросил более громко и торжественно:

– Is this yoir home?

– That's it! That's it![13] – ответила Лилиан.

Тогда все обнажили головы и наступила такая тишина, что я слышал гуденье огня и треск пылающих прутьев, падающих на землю, а старый, седовласый шахтер сказал, протянув над нами свои жилистые руки:

– Да благословит бог вас обоих и ваш дом. Аминь!

Троекратное «ура!» было ответом на это благословение, после чего все разошлись, оставив меня с моей любимой наедине.

Когда последний из присутствующих удалился, она положила голову мне на грудь, шепча: «Навсегда! Навсегда!» И в этот миг в сердцах наших было больше звезд, нежели на небе.

VI

Утром я покинул еще спящую жену и пошел за цветами для нее. Собирая их, я все повторял: «Ты женат!», и эта мысль наполняла меня такой радостью, что я возносил

взор к господу богу, слагая ему хвалу за то, что он дал мне дожить до той минуты, когда человек становится настоящим человеком и жизнь свою дополняет жизнью другого существа, любимого более всего на свете. Теперь и у меня было что-то свое в мире, и, хотя покамест жилищем и очагом моим была всего лишь крытая холстом повозка, я чувствовал себя богачом и смотрел на прежнюю мою скитальческую жизнь с жалостью и удивлением, недоумевая, как я мог до сих пор так жить. Ведь мне раньше и в голову не приходило, сколько счастья в слове «жена», когда этим именем зовешь кровь от крови твоего сердца и лучшую часть собственной своей души. Уже давно я так ее любил, что весь мир видел только через Лилиан, и все сводил к ней, и понимал лишь то, что ее касалось. И теперь, когда я говорил: «жена», это означало: «моя, моя навсегда». И я думал, что прямо с ума сойду от счастья, потому что в мозгу у меня не вмещалось, как это я, бедняк, могу обладать таким сокровищем. Чего мне тогда недоставало? У меня было все. Если бы эта степь была чуть теплее и безопаснее для нее и если бы не мое обязательство привести этих людей туда, куда я обещал, я готов был даже и не ехать в Калифорнию, а поселиться хотя бы и в Небраске, лишь бы вместе с Лилиан. Я ехал в Калифорнию искать золото, а теперь эта затея казалась мне смешной. «Какое еще богатство могу я найти, когда у меня уже есть она? – спрашивал я себя. – К чему нам обоим золото, и ей и мне? Вот выберу какой-нибудь каньон, где вечно цветет весна, нарублю бревен для хижины и буду жить с Лилиан, и плуг и ружье доставят нам пропитание – с голоду не умрем!»

Так я думал, собирая цветы, а когда их было уже достаточно, я возвратился в лагерь. По дороге мне встретилась тетушка Аткинс.

– Малютка спит? – спросила она, вынимая изо рта свою неизменную трубку.

– Спит, – ответил я.

Прищурился, тетушка Аткинс промолвила:

– Ah, you rascal![14]

Но «малютка» уже не спала. Мы увидели, как она сошла с повозки и, прикрыв глаза от солнца рукой, стала озиаться по сторонам. Заметив меня, она порывисто подбежала, вся розовая и свежая, как заря, и, когда я раскрыл объятия, она упала в них, запыхавшись, и, подставляя мне свои губки, зашебетала по-польски: «День добрый! День добрый!» Потом она поднялась на цыпочки и, глядя мне в глаза, сказала с лукавой усмешкой:

– Am I your wife?[15]

Чем другим мог я на это ответить, как не поцелуями и ласками без конца?

Так проходило у нас все это время, прожитое в развилине рек, потому что до отправления в дальнейший путь все мои обязанности взял на себя старик Смит. Мы навестили еще разок наших бобров и наш ручей, через который я ее перенес на этот раз без сопротивления. Однажды поплыли мы в маленькой лодке из красного дерева вверх по Блю-Ривер, где на одном из поворотов реки я показал Лилиан совсем вблизи буйволов, бьющих рогами в глинистый берег, отчего головы их покрыты как бы броней из засохшей глины.

Только за два дня до выступления мы прекратили эти экскурсии, потому что, во-первых, в окрестностях появились индейцы, а во-вторых, моя дорогая госпожа

начала чем-то хворать. Она побледнела и ослабела, а когда я спрашивал, что с ней, отвечала мне улыбкой и заверениями, что ничего. Я бодрствовал во время ее сна, укрывал ее, как умел, и, право, не давал и ветру коснуться ее, так что сам от забот немного похудел. Правда, тетушка Аткинс, говоря об этой болезни Лилиан, с таинственной миной прищуривала левый глаз и выпускала такие густые клубы дыма, что за ними ее самой не видать было. Но я все же беспокоился, тем более что временами у Лилиан появлялись грустные мысли. Она вбила себе в голову, что, быть может, нехорошо любить друг друга так сильно, как мы любим, и однажды, положив прелестный пальчик на Библию, которую читала каждый день, печально сказала:

– Читай, Ральф!

Я глянул, и у меня тоже сжалось сердце в каком-то странном предчувствии, когда я прочел: «Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever?»[16]

Она же сказала, когда я кончил читать:

– Но если господь гневается за это, я знаю, он будет настолько добр, что покарает только меня.

Я успокаивал ее, говоря, что любовь – это ангел двух человеческих душ, который летит к самому господу и приносит ему с земли хвалу. Больше мы не разговаривали об этом, потому что начались приготовления к походу, осмотр повозок и животных и тысяча мелких дел, отнимавших мое время.

Когда наступил наконец час отъезда, мы в печали и слезах простились с этим местом – свидетелем нашего величайшего счастья. Но, увидев караван, снова растянувшийся по степи, вереницу фургонов и упряжки мулов перед фургонами, я испытал облегчение, подумав, что конец нашего путешествия с каждым днем близится, что вот еще несколько месяцев – и мы увидим Калифорнию, куда стремимся с такими трудностями.

Однако первые дни пути были не слишком успешны. За Миссури, до самого подножья Скалистых гор, почва прерий на огромном пространстве непрерывно подымается вверх, поэтому животные быстро утомлялись и часто останавливались. Притом мы не могли подойти к реке Платт, хотя ее вода уже спала, так как было время великой весенней охоты и множество индейцев бродило у реки, выслеживая стада буйволов, шедших на север. Ночная служба дозорных стала тяжким и изнурительным трудом. Ни одна ночь не проходила без тревог. А на четвертый день после выхода из междуречья мы опять разбили большой отряд краснокожих, когда они пытались совершить стампеаду, то есть нападение на наших мулов. Неприятней всего, однако, были ночи без костров: не имея возможности приблизиться к Платт, мы часто оставались без топлива. Меж тем по утрам стал моросить мелкий дождик, и навоз, которым на худой конец можно было заменить дрова, намокал и не загорался. Передвижения буйволов также внушали мне беспокойство: временами мы видели на горизонте стада в несколько тысяч голов, мчавшиеся как вихрь вперед, сокрушая все на своем пути. Налети такое стадо на лагерь – и мы погибли бы бесповоротно. В довершение бед степь в эту пору кишела всевозможными хищными зверями; за буйволами, кроме индейцев, следовали страшные серые медведи, ягуары, крупные волки из Канзаса и индейских территорий. Останавливаясь на ночлег у небольших ручьев, мы иногда видели в час захода солнца множество зверей, приходивших на водопой после жаркого дня. Однажды медведь напал на нашего метиса Вихиту и, не поспей мы со стариком Смитом и вторым проводником Томом на помощь, разорвал бы

его. Я разможил голову чудовища топором, удар был так силен, что рукоятка из твердого дерева гикоро расколосась надвое, но зверь еще бросился на меня и упал лишь тогда, когда Смит и Том выстрелили ему в ухо из карабинов. Эти свирепые звери были так дерзки, что ночью подходили к самому лагерю, и в течение недели мы убили двух медведей не далее как в ста шагах от повозок. Собаки с вечера и до рассвета подымали такой лай, что невозможно было сомкнуть глаза.

Прежде такая жизнь мне нравилась. Год тому назад, в Арканзасе, я попадал в еще большие переделки, и мне это доставляло только удовольствие. Но теперь стоило мне вспомнить, что там, в фургоне, моя любимая жена губит свое здоровье, проводя ночи без сна, в вечном страхе за меня, как мне хотелось послать к черту индейцев, медведей и кугуаров. Я хотел поскорее обеспечить покой этому созданию, такому хрупкому и нежному, такому обожаемому, что я готов был вечно носить ее на руках. И только тогда у меня отлегло от сердца, когда, после трех недель таких переходов, я увидел наконец какие-то белесые, как бы замешенные с мелом, воды реки, которая теперь называется Рипабликэн-Ривер, а тогда еще не имела английского названия. Густые заросли черного тростника, тянущиеся траурной каймой вдоль белой воды, могли дать нам топлива сколько потребуется. Этот тростник лопается в огне с сильным треском, разбрасывая снопы искр, но все же он горит лучше, чем влажный навоз. Я дал здесь каравану двухдневный отдых, потому что скалы, разбросанные по берегам, предвещали близость труднопроходимой гористой местности, лежащей по обе стороны Скалистых гор. Мы и так поднялись уже высоко над уровнем моря, это можно было узнать хотя бы по ночным холодам.

Резкая разница между дневной и ночной температурами немало нам досаждала. Несколько человек – среди них старик Смит – заболели лихорадкой и должны были ехать на повозках. Заболели они, видно, еще на заболоченных берегах Миссури, а трудные условия вызвали теперь вспышку болезни. Близость гор вселяла в нас, правда, надежду на скорое выздоровление. А покамест моя жена ухаживала за больными с самоотверженностью, свойственной только ангельским душам.

Но и сама она все худела. Просыпаясь утром, я глядел на лицо прелестной женщины, спящей подле меня, и сердце мое тревожно билось при виде бледных щек и синих кругов под глазами. Случалось, что, когда я так смотрел на нее, она просыпалась и, улыбнувшись мне, снова засыпала. Тогда я чувствовал, что отдал бы половину моего железного здоровья за то, чтобы мы уже были в Калифорнии. Но до нее было еще далеко, очень далеко!

После двух дней отдыха мы двинулись дальше и вскоре, оставив на юге Рипабликэн-Ривер, направились вдоль развилин Белого Человека к южным ответвлениям Платт, значительная часть которой течет уже в Колорадо. Местность с каждым шагом становилась все более гористой, и, по сути, мы уже находились в каньоне, по обе стороны которого громоздились все более высокие гранитные скалы, то одинокие, то сливающиеся в длинные и ровные стены, то образующие теснины, то раздвигающиеся пошире. Дров теперь было достаточно, во всех трещинах и расселинах росли карликовые сосны и карликовые дубы; кое-где по каменистым стенам журчали ручьи; на скалах прыгали пугливые каменные козлы. Воздух был холодный, чистый, здоровый. Через неделю больные выздоровели. Только мулы и лошади, вынужденные питаться вместо сочных трав Небраски кормом, в котором преобладал вереск, все больше худели и трудно дышали, таща вверх наши тяжелые, сильно нагруженные фургоны.

Наконец как-то пополудни мы увидели впереди не то маяки, не то клочковатые, расплывающиеся тучи, туманные, синие, голубые, а сверху белые и золотистые,

огромные – до самого неба.

При этом зрелище во всем караване поднялся шум; люди взбирались на крыши фургонов, чтобы лучше видеть; отовсюду слышались возгласы: «Rocky Mountains! Rocky Mountains!»[17] Люди махали шапками, лица светились воодушевлением.

Так американцы приветствовали свои Скалистые горы, а я подошел к моему фургону и, прижав жену к груди, еще раз дал в душе обет верности перед этими достигающими небес алтарями божества, излучавшими торжественную таинственность, величие и недоступность. Как раз в это время заходило солнце, и вскоре мрак покрыл всю местность, лишь эти исполины в последних лучах заката казались огромной грудой раскаленного угля и лавы. Потом этот огненно-красный цвет перешел в более темный, с фиолетовым отливом, и, наконец, все исчезло и слилось в сплошной мрак, сквозь который на нас сверху глядели звезды – мерцающие глаза ночи.

Мы были еще, однако, не менее чем в ста пятидесяти английских милях от главной цепи; на следующий день ее скрыли от наших глаз близкие скалы, а потом она то появлялась вновь, то исчезала, в зависимости от поворотов дороги. Двигались мы медленно, нам мешали все новые препятствия, и хотя мы старались держаться русла реки, но часто, где берега были круты, нам приходилось отходить от нее и отыскивать проходы через соседние долины. Почва их была покрыта серым вереском и диким горохом, непригодным в еду даже для мулов, длинные и крепкие стебли путались в колесах, мешали движению и были для нас серьезной помехой.

Порой нам попадались непроходимые расселины и трещины длиной в несколько сот ярдов, которые также приходилось объезжать. То и дело наши проводники, Вихита и Том, возвращались с известиями о новых препятствиях. Почва то ощетинивалась скалами, то внезапно проваливалась пропастями. Иногда нам казалось, что мы едем долиной, и вдруг на краю этой долины вместо окаймляющих гор разверзалась такая бездонная пропасть, что взгляд боязливо скользил по отвесно падающей стене и голова кружилась. Растущие на дне пропасти исполинские дубы казались маленькими черными кустиками, а пасущиеся среди дубов буйволы – жуками. Мы все дальше углублялись в край каменистых глыб, обломков, ущелий и скал, громоздящихся одна на другую в диком беспорядке. Эхо, отражаясь от гранитных сводов, многократно повторяло проклятия возчиков и визг мулов. В степи наши повозки, возвышаясь над плоской землей, казались большими, даже величественными, здесь же они странно уменьшались в наших глазах рядом с каменными утесами и исчезали в горловинах ущелий, словно пожираемые огромной пастью. Небольшие водопады, или, как индейцы называют их, «смеющиеся воды», преграждали нам путь через каждые несколько сот шагов; напряжение истощало и нас, и животных, а меж тем горная цепь, когда она временами показывалась на горизонте, была все такой же далекой и туманной. К счастью, любопытство, поддерживаемое постоянной сменой ландшафта, побеждало в нас даже усталость. Ни один из моих людей, не исключая и тех, что были родом из Аллеганов, никогда не видел такой дикой местности. Я сам с изумлением смотрел на эти каньоны, где необузданная фантазия природы нагромоздила замки, крепости и целые каменные города.

Индейцы, которых мы иногда встречали, отличались от степных сородичей большей разрозненностью и дикостью. Вид белых людей пробуждал в них страх, смешанный с жадной кровью. Они казались еще более свирепыми, чем их братья из Небраски; были они рослые, темнокожие, с широкими ноздрями, и бегающий взгляд делал их похожими на диких зверей в клетке. Движения их также отличались почти звериным проворством и настороженностью. Разговаривая, они прикасались большим пальцем к

своим щекам, размалеванным белыми и голубыми полосами. Их оружие состояло из топоров и луков, изготовленных из твердого горного шиповника, и луки были такие тугие, что у моих людей не хватало сил натянуть тетиву. Дикари эти при большей численности могли быть весьма опасны, так как отличались неукротимой жестокостью. К счастью, они были очень немногочисленны и самый большой отряд, встреченный нами, не превышал пятнадцати воинов. Называли они себя Табегаучи, Веминучи и Ямпасы. Метис наш Вихита, хотя и разбирался в индейских наречиях, совершенно не понимал их языка, поэтому мы никак не могли взять в толк, отчего все они, указывая на Скалистые горы, а потом на нас, сжимали в кулак и раскрывали руки, словно показывая нам на пальцах какое-то число.

Дорога становилась такой трудной, что мы едва делали по пятнадцати миль в день, затратив огромные усилия. Лошади, менее выносливые, чем мулы, и более привередливые в еде, начали падать; люди, целыми днями подтягивая повозки на веревках наравне с мулами или поддерживая повозки в опасных местах, обессилели. Постепенно у более слабых стало проявляться недовольство; несколько человек заболело костной болезнью, а у одного от натуги хлынула изо рта кровь, и он умер в три дня, проклиная минуту, когда ему пришла в голову мысль покинуть нью-йоркский порт. Были мы тогда на самом тяжелом участке пути, близ небольшой реки, называемой индейцами Кайова. Здесь не было таких высоких скал, как на восточной границе Колорадо, но весь край, насколько мог охватить взгляд, был усеян большими и малыми глыбами, беспорядочно набросанными одна на другую торчком или плашмя. Эти глыбы напоминали разрушенные кладбища с вывороченными надгробиями. Поистине то были «злые земли» Колорадо, подобные тем, что простираются на севере Небраски. С величайшим трудом мы выбрались оттуда после целой недели мучений.

VII

Остановились мы только у подножья Скалистых гор.

Страх охватывал меня, когда я смотрел вблизи на этот окутанный туманами гранитный мир, с гребнями, которые теряются в вечных снегах за облаками. Безмолвное величие каменных громад давило меня, и я склонялся перед творцом, моля его, чтобы он дал мне провести через эти бесконечные стены мои повозки, моих людей и мою любимую жену. После молитвы я смелей углубился в ущелья и проходы, и они сомкнулись за нами, отрезав нас от остального мира. Над нами небо, в нем кружится несколько орлов, а вокруг лишь гранит – настоящий лабиринт проходов, арок, ущелий, расселин, пропастей, башен, безмолвных зданий и исполинских, охваченных сном залов. Такая там торжественность и душа пребывает под таким каменным гнетом, что человек, сам не зная почему, начинает говорить шепотом. Ему чудится, что дорога перед ним то и дело замыкается, что некий голос говорит ему: «Не ходи дальше, ибо там уже прохода нет!» Чудится ему, что он нарушает некую тайну, на которую положил печать сам бог. Ночью, когда эти отвесные громады чернели, как траурное покрывало, и луна набрасывала серебряную печальную вуаль на их гребни, когда из «смеющихся вод» подымались какие-то странные тени, дрожь пробирала самых закаленных искателей приключений. Целые часы мы проводили у костров, с суеверным ужасом всматриваясь в черные, освещенные кровавыми отблесками провалы, будто ожидая, что вот-вот из них покажется нечто жуткое.

Однажды в углублении скалы мы нашли человеческий скелет, и, хотя по остаткам присохших к черепу волос и по оружию было видно, что это был индеец, наши сердца сжало зловещее предчувствие. Скаля зубы, скелет, казалось, предостерегал, что тот, кто здесь заблудится, отсюда уже не выйдет. В тот же день метис Том

сорвался вместе с конем со скалы и погиб. Мрачное уныние охватило весь караван. Прежде мы ехали шумно и весело, теперь даже возчики перестали ругаться, и мы двигались в молчании, прерываемом лишь скрипом колес. Мулы тоже все чаще упрямылись, а когда одна пара остановилась, все упряжки за ней остановились как вкопанные. Сильнее всего терзало меня то, что в эти тяжкие минуты, когда жена моя больше чем когда-либо нуждалась в моем присутствии и поддержке, я не мог быть с ней, – я должен был поспевать повсюду, чтобы подавать пример, укреплять бодрость и надежду. Люди мои переносили трудности со свойственной американцам стойкостью, но при этом теряли последние силы. Только мое крепкое здоровье выдерживало все испытания. Бывали ночи, когда у меня и двух часов отдыха не было: вместе с другими я тащил повозки и еще расставлял охрану, объезжал расположение – словом, выполнял службу вдвое более тяжкую, чем любой из моих людей, но, видно, счастье прибавило мне силы. Ведь когда я, усталый и измученный, приходил наконец к своему фургону, то находил там все, что было мне дороже всего в мире, – верное сердце и любящую руку, которая отирала пот с моего лица. Хотя Лилиан и была немного нездорова, она никогда не засыпала до моего прихода; я выговаривал ей за это, но она закрывала мне уста поцелуями и просьбами не сердиться на нее. Я укладывал ее спать, и она засыпала, держа мою руку. Часто она просыпалась и укрывала меня брововыми шкурами, чтобы я лучше отдохнул. Всегда кроткая, нежная, любящая и заботливая, она вызывала во мне настоящее обожание – я целовал подол ее платья как величайшую святыню, а наш фургон стал для меня почти храмом. Лилиан была крошкой рядом с вздымающимися до неба каменными громадами, на которые она смотрела, запрокинув голову; и все-таки она заслоняла их собой, и при ней скалы как бы исчезали, и среди всех этих исполинов видна была лишь она одна. Что ж странного в том, что, когда у других не хватало сил, я чувствовал, что, пока это нужно будет для нее, моих сил всегда хватит?

Через три недели мы наконец добрались до большого каньона, образуемого рекой Белой. У входа в него индейцы из племени Уинта устроили нам засаду, вызвав у нас небольшое замешательство. Но когда красные стрелы стали залетать на крышу фургона моей жены, мы разом ударили на индейцев с таким напором, что они тут же разбежались. Три четверти нападавших мы перебили. Единственный пленник, взятый живым, – молодой, шестнадцатилетний парень, – оправясь от испуга, начал повторять те жесты, которые делали Ямпасы, указывая поочередно то на нас, то на запад. Мы полагали, что он хочет сообщить о присутствии белых людей поблизости; правда, этой догадке трудно было поверить. Между тем она оказалась правильной, и легко себе представить наши удивление и радость, когда на следующий день, спускаясь с высокого плоскогорья, мы увидели на дне обширной долины у наших ног не только повозки, но и дома, построенные из свежесрубленных бревен. Эти домики располагались по кругу, в центре которого высился большой сарай без окон; посреди долины протекал ручей и бродили стада мулов под охраной всадников. Присутствие людей моей расы в этом месте вызвало во мне изумление, вскоре перешедшее в тревогу при мысли, что это могут быть outlaw, после своих злодеяний скрывающиеся от смертной казни в пустыне. Я знал по опыту, что подобные отбросы общества часто уходят в очень отдаленные и совершенно пустынные края, где создают отряды с прекрасной военной организацией. Иногда они основывали даже новые общины, вначале занимаясь разбойничьими набегами, а затем по мере притока поселенцев постепенно возникали из таких поселений настоящие штаты. Когда в качестве скваттера я сплавлял лес в Новый Орлеан, не раз приходилось мне встречаться с outlaw в верховьях Миссисипи и вступать с ними в кровавые стычки. Поэтому их жестокость и воинственность были мне хорошо известны.

Я бы их не боялся, не будь среди нас Лилиан, но при мысли об опасности, в

которой оказалась бы она в случае проигранного сражения и моей смерти, волосы у меня становились дыбом, и впервые в жизни я испытывал страх, как последний трус. Но я был уверен, что если это outlaw, то никакими средствами нам не избежать боя, и дело тут будет потруднее, чем с индейцами.

Я тотчас предупредил людей о возможной опасности и выстроил их к бою. Я был готов либо погибнуть, либо перебить до последнего всех в этом осином гнезде и поэтому решил первым ударить по ним. Тем временем из долины нас заметили, и два всадника помчались к нам во весь опор. Видя это, я облегченно вздохнул, так как outlaw не выслали бы парламентаров. Оказалось, что это были звероловы американской компании, торгующей мехами, а в этом месте находился их летний лагерь, так называемый summer camp. Таким образом, вместо сражения нас ожидали самый радушный прием и большая помощь со стороны суровых, но честных охотников пустыни. Нас приняли с распростертыми объятьями, а мы благодарили бога за то, что он снизошел к нашим нуждам и уготовил нам столь сладостный отдых. Ведь минуло уже два с половиной месяца, как мы покинули Биг-Блю-Ривер, силы наши истощились, мулы были чуть живы. Здесь же мы могли снова отдохнуть с недельку в полной безопасности при обилии пищи для нас и корма для животных.

Это было для нас прямо спасением. Мистер Торстон – начальник лагеря, благовоспитанный и образованный человек, – узнав, что я не обычный степной бродяга, сразу подружился со мной и предоставил свой домик для меня и Лилиан, чье здоровье все ухудшалось.

Два дня я заставил ее лежать в постели. Она была так измучена, что в первые сутки почти не открывала глаз. Я же следил, чтобы ее отдыху ничто не мешало, сидя у ее постели и часами глядя на нее. Через два дня она уже настолько окрепла, что могла выходить, но я не позволял ей заниматься какой-либо работой. Люди мои в первые несколько дней тоже спали как убитые, где кто свалился, и только после отдыха мы принялись за починку повозок, одежды и за стирку белья. Добрые охотники помогали нам от всего сердца. То были в основном канадцы на службе у торговой компании. Зимой они проводили на охоте, ловили в западни бобров, убивали скунсов и куниц, а летом стягивались в так называемые summer camps – летние лагеря, где находились временные меховые склады. Обработанные кое-как шкуры отправлялись отсюда с охраной на восток. Работа этих людей, нанимающихся на несколько лет, была несказанно трудной: им приходилось отправляться в очень далекие и пустынные местности, где, правда, всякого зверья было вдоволь, но жизнь протекала в непрерывных опасностях и упорной борьбе с краснокожими. Они получали за это хорошую плату, однако большинство из них служило не для денег, а из любви к жизни в пустыне и к приключениям, в которых недостатка не было. Люди тут подобрались крепкие, здоровые, способные вынести всякие трудности. Их рослые фигуры, меховые шапки и длинные карабины напоминали моей жене повести Купера, которые ей случалось читать в Бостоне. Поэтому она с большим интересом смотрела на лагерь и на все его устройство. Дисциплина царила у них такая, как в рыцарском ордене, и Торстон, главный агент компании, а заодно их главарь, пользовался властью военачальника. То были люди вполне порядочные, и мы прекрасно провели с ними время. Наши люди им тоже очень понравились, и они говорили, что никогда еще не встречали такого дисциплинированного и благоустроенного каравана. Торстон при всех хвалил мой план путешествия по северной дороге вместо дороги на Сен-Луи и Канзас. Он рассказал нам, что караван из трехсот человек, отправившийся по той дороге под начальством некоего Марквуда, испытал много мучений от жары и саранчи, потерял тягловых животных и был полностью истреблен индейцами племени Арапагоков. Канадские стрелки знали об этом от самих Арапагоков, которых они, в свою очередь, изрядно потрепали в

большом сражении, захватив у них более ста скальпов, в том числе скальп Марквуда. Это известие так сильно подействовало на моих людей, что даже старый бродяга Смит, сперва противившийся плану пути через Небраску, сказал мне при всех, что я более smart, [18] чем он, и что ему надо у меня поучиться. За время отдыха в гостеприимном летнем лагере мы полностью восстановили свои силы. Кроме Торстона, с которым у меня завязалась прочная дружба, я там еще познакомился со знаменитым во всех Штатах Миком. Он не принадлежал к отряду, но бродил по пустыне в компании двух известных охотников – Линкольна и Кида Карстона. Эти удивительные люди вели втроем настоящую войну с целыми племенами индейцев, и их ловкость и сверхчеловеческая отвага всегда обеспечивали им победу. Имя Мика, о котором теперь написана не одна книга, было так страшно индейцам, что его слово больше значило для них, чем договоры с правительством Штатов. Правительство тоже часто пользовалось его посредничеством и в конце концов назначило губернатором Орегона. Когда я познакомился с ним, ему было уже под пятьдесят, но волосы его были черны как вороново крыло, а во взгляде светились сердечная доброта, сила и неукротимая смелость. Притом он слыл самым сильным человеком во всех Штатах, и когда я с ним попытался бороться, то он оказался первым, кого я, к всеобщему удивлению, не смог одолеть. Этот человек большой души очень любил Лилиан и благословлял ее всякий раз, когда навещал нас. На прощанье он подарил ей пару изящных маленьких мокасин из оленьей кожи собственной работы. Подарок пришелся весьма кстати: у моей бедняжки уже не было ни одной пары целых башмаков.

Наконец мы двинулись в путь при хороших предзнаменованиях, снабженные подробными указаниями о том, каких каньонов нам следует держаться в походе, а также запасами солонины. Мало того: добрый Торстон оставил себе худших наших мулов и дал нам взамен сильных и хорошо отдохнувших, а Мик, который уже бывал в Калифорнии, рассказывал нам настоящие чудеса не только о ее богатстве, но и о приятном климате, прекрасных дубовых лесах и горных каньонах, не имеющих себе равных во всех Штатах. Итак, великая бодрость влилась в наши сердца, ибо мы не ведали о мучениях, ожидавших нас до прихода в эту землю обетованную. Отъезжая, мы долго махали честным канадцам шапками в ответ на их «Fare well!». [19] Что до меня, то этот день отъезда навеки остался в моем сердце, потому что в тот же полдень любимая звездочка моей жизни, обняв мою шею обеими руками, краснея от стыда и волнения, начала шептать мне на ухо слова, услышав которые я склонился к ее ногам и, плача от сильного чувства, целовал колени не только жены моей, но и будущей матери моего ребенка.

VIII

Через две недели, после того как мы расстались с летним лагерем, мы вступили в пределы Юты, где путешествие наше вначале шло быстрее, хотя по-прежнему не без трудностей. Нам предстояло еще пройти западную часть Скалистых гор, образующих целую группу отрогов под названием Wasath Mountains, но две реки – Green и Grand River, – образующие при слиянии большое озеро Колорадо, а также многочисленные притоки этих рек, прорезывающие горы во всех направлениях, открывают в них проходы, не слишком трудные для путников. По этим проходам мы через некоторое время добрались до озера Юта, где начинаются солончаки. Вокруг нас простирался странный, однообразный, угрюмый край: большие степные долины, окруженные амфитеатрами тупоконечных скал, тянутся однообразной утомительной чередой. Суровость и мертвая нагота этих пустынь и скал заставляет вспоминать о библейских пустынях. Озера здесь соленые, с сухими и бесплодными берегами.

Деревьев нет вовсе. На огромных пространствах оголенная земля выделяет, как из пор, соль и поташ. Только кое-где почва покрыта серыми растениями с толстыми плоскими листьями, – если надорвать их, они сочатся тягучим и соленым соком.

Дорога здесь томительная и гнетущая. Проходят недели, а пустыня тянется без конца, и видишь перед собой все те же однообразные каменные равнины. Наши силы стали снова истощаться. В степях царило однообразие жизни, здесь – однообразие смерти.

Постепенно людьми овладевали подавленность и безразличие. Вот мы прошли Юту – все те же мертвые земли! Вступили в Неваду – то же самое! Солнце пекло так сильно, что голова трещала от боли; лучи, отражаясь от поверхности, покрытой солью, резали глаза; в воздухе носилась пыль, неизвестно откуда берущаяся, и от нее воспалялись веки. Мулы и лошади то и дело хватили зубами землю, часто они падали, сраженные солнцем, как молнией. Многих поддерживала только надежда, что вот еще неделя-другая – и на горизонте покажется Сьерра-Невада, а за ней желанная Калифорния. А пока дни и недели приносили все больше трудностей. За одну неделю нам пришлось бросить три повозки – не хватало упряжек. О, это была земля нужды и скорби! А в Неваде пустыня стала еще более дикой, и положение наше еще ухудшилось, ибо начались болезни.

Однажды утром пришли мне сказать, что Смит болен. Я отправился проведать его и с удивлением убедился, что старого горняка свалил тиф. Нельзя безнаказанно столько раз менять климат: усталость, несмотря на короткие передышки, дает себя знать, а болезнетворные микробы развиваются именно у людей утомленных и терпящих лишения. Лилиан, которую Смит любил как родное дитя и благословил в день свадьбы, во что бы то ни стало хотела ухаживать за ним. А я, слабый человек, дрожал за нее, но не мог запретить ей выполнить этот христианский долг. Итак, она проводила у больного целые дни и ночи вместе с тетушкой Аткинс и тетушкой Гроссвенор, следовавшими ее примеру. Однако на второй день старик потерял сознание, а на восьмой день умер на руках у Лилиан. Я похоронил его, проливая горькие слезы над останками того, кто был не только моим помощником и правой рукой во всем, но также настоящим отцом для нас обоих. Надеялись мы, что после такой тяжелой жертвы бог смилуетя над нами, но наши испытания только начинались: в тот же день свалился другой шахтер, а затем почти каждый день кто-нибудь ложился в повозку и покидал ее, лишь несомый нами в могилу. Так тащились мы по пустыне, а вслед за нами шла болезнь, похищая все новые жертвы. Заболела и тетушка Аткинс, но благодаря заботам Лилиан болезнь ее кончилась благополучно. Сердце мое постоянно замирало от страха, и нередко, когда Лилиан бывала при больных, а я на своем посту, один во мраке, где-то впереди каравана, я сжимал виски руками и падал ниц как покорный пес, моля бога о милосердии к ней и не смея вымолвить: «Да будет воля твоя, а не моя». Даже когда я был рядом с Лилиан, я иногда внезапно просыпался ночью; мне казалось, что болезнь приподымает полог моей повозки и заглядывает внутрь, ища Лилиан. Минуты, что я не был с ней – а их было немало, – превратились для меня в сплошную пытку, от которой я сгибался, как дерево в бурю. Однако Лилиан покамест выдерживала все трудности и лишения. Самые крепкие люди валились с ног, а она, хотя исхудавшая, бледная, со все более заметными признаками беременности на лице, но все же здоровая, переходила от повозки к повозке. Я не решался даже спросить у нее, как она себя чувствует, только заключал ее в объятия и долго-долго прижимал к груди. А когда хотел заговорить, горло мое сжималось так, что я слова не мог вымолвить.

Но постепенно во мне оживала надежда, и в голове перестали звучать страшные слова Библии: «Who worshipped and served the creature more than the Creator?»

Мы уже приближались к западной части Невады, где за полосой мертвых озер кончаются солончаки и скалистая пустыня и снова начинается степная полоса, более ровная, зеленая и плодородная. Когда после двух дней пути никто не заболел, я

думал, что бедствия наши кончились. И пора бы уже!

Девять человек умерли, шестеро были еще больны. Страх перед болезнью расшатал у нас дисциплину. Лошади почти все пали, мулы походили на скелеты. Из пятидесяти повозок, с которыми мы покинули летний лагерь, только тридцать две тащились теперь по пустыне. При этом никто не хотел идти на охоту из боязни свалиться где-нибудь вдали от лагеря и остаться без помощи. Запасы наши не пополнялись и подходили к концу. Уже с неделю, стремясь экономить их, мы питались черными степными белками, но их зловонное мясо было так нам противно, что мы с величайшим отвращением подносили его ко рту. Не хватало, однако, и этой негодной пищи. Правда, за озерами дичи стало попадаться больше и пастбища улучшились.

Мы снова встретили индейцев, которые напали на нас, вопреки своим обычаям, среди бела дня и в открытой степи, – у них было немного огнестрельного оружия. Они убили у нас четырех человек. В схватке меня ранили топором в голову, и так сильно, что к вечеру я впал в беспамятство от потери крови. Но я был почти счастлив, что так случилось; теперь Лилиан ухаживала за мной, а не за больными, от которых могла заразиться тифом. Три дня пролежал я в фургоне, и это были хорошие три дня – я все время был подле нее, мог целовать ее руки, когда она меняла повязки, и смотреть на нее. На третий день я уже был в состоянии сесть на коня, но духом я ослабел и перед самим собой притворялся еще больным, лишь бы остаться подле Лилиан.

Только теперь я почувствовал, как я измучен, и, пока я лежал, безмерная усталость исходила из костей моих. Потому что и я немало натерпелся от страха за жену и тоже исхудал как скелет; и как я раньше смотрел на мою любимую с тревогой и беспокойством, так теперь она смотрела на меня. Но когда голова моя перестала переваливаться от слабости с плеча на плечо, тут уж нечего было делать, надо было садиться на последнюю выжившую клячу и вести караван дальше, не мешкая, тем более что со всех сторон появлялись какие-то тревожные признаки. Зной становился почти сверхъестественным, и в воздухе плавал грязноватый туман с гарью как бы от отдаленного пожарища. Горизонт затуманился и потемнел, небо омрачилось, и лучи солнца, доходившие до нас, были рыжеватыми и скудными. Животные обнаруживали странное беспокойство – они хрипло дышали, скаля зубы; нам казалось, будто мы вдыхаем огонь. Я полагал, что это результат одного из тех удушливых ветров, которые дуют из пустыни Джила; о них мне говорили на Востоке. Но вокруг царил тишина, ни один стебелек в степи не шелухнулся. Вечерами солнце заходило багряное, как кровь, и наступала душная ночь. Больные со стонами просили воды, собаки выли, а я ночи напролет кружил за несколько миль от лагеря, проверяя, не горит ли степь. Но зарева нигде не было видно.

Наконец я успокоился на мысли, что это действительно гарь, но от уже потухшего пожара. Днем я заметил, что зайцы, антилопы, буйволы и даже белки поспешно движутся на восток, как бы убегая из той Калифорнии, к которой мы стремимся с таким упорством. Но потом воздух стал немного чище, жара уменьшилась, и я окончательно утвердился в мысли, что пожар был, но догорел, а звери всего лишь ищут пастбищ. Нам надо было только поскорее добраться до пожарища и проверить, можно ли пройти через него или придется делать объезд. По моим расчетам, до гор Сьерра-Невада оставалось не более трехсот английских миль, или около двадцати дней пути, и я решил идти к ним, пусть из последних сил.

Теперь мы двигались только по ночам, так как жара крайне изнуряла животных, а между повозками всегда было немного тени, где они могли отдохнуть днем. Однажды, от усталости и раны не будучи уже в силах держаться в седле, я ехал ночью в

фургоне Лилиан. Вдруг я услышал странный свист и скрежет колес, трущихся о какой-то особый грунт. Тут же по всему табору раздались окрики: «Стой! Стой!» Я тотчас соскочил с повозки и при свете месяца увидел, что возчики наклонились к земле и пристально в нее всматриваются. Меня окликнули: «Эй, капитан, мы едем по углю!» Я нагнулся и пощупал почву. Действительно, мы были в сожженной степи.

Я сразу задержал обоз, и остаток ночи мы простояли на месте. Утром, с восходом солнца, удивительное зрелище предстало нам. Насколько хватало зрения, простиралась черная, как уголь, равнина: не только все кусты и травы на ней были сожжены, но самая почва как бы остекленела, – ноги мулов и колеса повозок отражались в ней, словно в зеркале. Мы не могли точно установить, как широка полоса пожара, потому что горизонт еще застилала гарь. Но я без колебаний приказал повернуть на юг, чтобы обогнуть пожарище и не рисковать, пытаюсь перейти через него. Я знал по опыту, что значит ехать по сожженной степи, где нет ни стебля травы для животных. Огонь, видимо, двигался по ветру в северном направлении, и я надеялся, идя к югу, достигнуть границы, от которой начался пожар. Мой приказ был выполнен, правда, довольно неохотно, так как он означал бог весть какую долгую проволочку. Во время дневного отдыха гарь стала рассеиваться, но зато жара так страшно усилилась, что воздух просто дрожал от накала. И вдруг случилось нечто, что можно было счесть за чудо.

Неожиданно, как по мановению, туман и дым раздвинулись – и перед нашими глазами показались горы Сьерра-Невада, зеленые и радостные, чудесные, покрытые на гребнях сверкающими снегами, и так близко, что мы могли рассмотреть невооруженным глазом впадины в горах, зеленые склоны и леса. Нам казалось, что свежее дуновение ветра, полное живительного аромата елей, долетает к нам через пепелище и что через несколько часов мы достигнем их цветущего подножья. При этом зрелище люди, изнуренные страшной пустыней и тяготами, чуть не сошли с ума от радости: одни, рыдая, падали наземь, другие протягивали руки к небу или разражались смехом, некоторые побледнели и молчали, не будучи в силах вымолвить слова. Мы с Лилиан также плакали от радости, которая смешивалась во мне с изумлением: ведь я полагал, что от Калифорнии нас отделяет еще не менее ста пятидесяти миль. А тем временем горы усмехались нам через пепелище и словно по какому-то волшебству, казалось, приближались и склонялись к нам, зазывая и маня. Хотя часы отдыха еще не кончились, люди и слышать не хотели о том, чтобы дольше оставаться на месте. Даже больные, протягивая пожелтевшие руки из-под холщовых навесов, просили поскорее запрягать и ехать. Быстро и охотно двинулись мы вперед, и к скрежету колес по обугленной земле присоединились щелканье бичей, песни и выкрики. О том, чтобы объезжать сожженную полосу, не было уже и речи.

И к чему тут объезжать, когда в нескольких десятках миль была Калифорния с ее дивными Снежными горами! Итак, мы шли напрямик. Тем временем сизая гарь внезапно снова заслонила от нас лучистое зрелище. Шли часы, горизонт становился все уже; наконец солнце зашло, на небе слабо замерцали звезды, наступила ночь, а мы все ехали вперед. Но горы, очевидно, были дальше, чем нам показалось.

К полуночи мулы начали визжать и упираться, а час спустя обоз остановился, так как большинство животных улеглось на землю. Люди тщетно пытались поднять их. Никто не сомкнул глаз всю ночь. При первых лучах солнца наши взгляды жадно устремились вдаль и... ничего не нашли там. Перед нами, сколько видел глаз, простиралась черная траурная пустыня, однообразная, угрюмая, отделенная резкой линией от горизонта: вчерашних гор не было и в помине.

Люди остолбенели, а мне все стало ясно. Это зловещая фата-моргана! Дрожь

пронизала меня до мозга костей. Что же делать? Идти дальше? А если эта сожженная равнина тянется еще на сотни миль? Возвращаться? А вдруг там, в нескольких милях, конец черной полосы пожарища? Наконец, выдержат ли мулы обратный путь по выжженной полосе, которую мы уже прошли? Поистине не хватало духу взглянуть на дно той пропасти, на краю которой все мы очутились. Однако я хотел знать, что дальше делать. Поэтому я сел на коня, поехал вперед и с ближайшего холма окинул взглядом более широкий горизонт. Я разглядел в бинокль какие-то зеленые полосы, но, когда после часа езды я добрался до этого места, оказалось, что то было всего лишь болото, где огонь не сумел полностью уничтожить зелень по краям. Сожженная равнина тянулась дальше, чем можно было увидеть и в бинокль. Ничего не поделаешь! Надо отступить и объехать пожарище. С этой мыслью я поворотил коня.

Я приказал ждать меня и рассчитывал застать повозки на том же месте. Но распоряжения моего не послушали. Люди поднимали мулов, и обоз двигался дальше. На мой вопрос мне угрюмо ответили:

– Там горы, и туда мы пойдем!

Я даже не пытался спорить, так как знал, что нет силы человеческой, способной удержать этих людей. Может быть, я бы и повернул обратно вдвоем с Лилиан, но у меня уже не было повозки, а Лилиан ехала с тетушкой Аткинс.

Итак, мы шли вперед. Снова наступила ночь, а с ней вынужденный отдых. Над обугленной степью взошла большая красная луна и осветила ровную черную даль. Наутро уже только половина повозок могла двинуться в путь, ибо половина мулов пала. Днем стояла ужасная жара. Лучи, поглощаемые углем, наполняли воздух огненным жаром. Один из наших больных умер в страшных конвульсиях, и никто не занялся его погребением. Положили его в степи и поехали дальше. Вода из большого болота, где я был вчера, придавала на миг бодрости людям и животным, но не могла восстановить их силы. В течение полутора суток мулы не съели ни травинки и питались только соломой из повозок, но и той уже не хватало. Дальнейший наш путь был обозначен их трупами. На третий день остался только один мул, которого я силой взял для Лилиан. Повозки с инвентарем для работы в Калифорнии остались в этой навеки проклятой пустыне. Кроме Лилиан, все шли пешком. Вскоре новый враг глянул нам в глаза – голод. Часть провизии осталась на повозках, то, что каждый мог нести на себе, было съедено. А вокруг – ни одного живого существа. Из всего каравана у меня одного остались еще сухари и кусок солонины, но я прятал их для Лилиан и готов был разорвать на клочки всякого, кто напомнил бы мне об этих запасах. Я их тоже не ел... А эта страшная равнина все тянулась без конца!

Как бы для того, чтобы усилить наши муки, фата-моргана снова играла над степью в полуденные часы, показывая нам горы, леса, озера. Однако ночи были еще страшнее. Лучи солнца, поглощенные в течение дня углем, ночью обжигали наши ноги и наполняли жаром горло. В такую ночь один из наших помешался и, усевшись на землю, начал судорожно хохотать. Этот ужасный смех долго преследовал нас во мраке. Свалился мул, на котором ехала Лилиан. Изголодавшиеся люди в мгновение ока разорвали его на куски, но разве этим могли подкрепиться две сотни людей! Пошел четвертый день, пятый. От голода лица у всех стали какие-то птичьи. Люди с ненавистью смотрели друг на друга. Они знали, что у меня есть провизия, но знали также, что потребовать у меня хоть крошку равносильно смерти, и инстинкт самосохранения еще брал верх над голодом. Я кормил Лилиан только по ночам, чтобы не разъярять других этим зрелищем. Она заклинала меня всеми святыми разделить с ней еду, но я пригрозил, что пушу себе пулю в лоб, если она еще заикнется об этом, и, плача, она ела одна. Она ухитрилась, однако, как ни был я бдителен,

выкрадывать крохи, которые отдавала тетушке Аткинс и тетушке Гроссвенор. А тем временем голод железными когтями терзал и мои внутренности. Раненая голова моя горела. Уже пять дней, как у меня во рту не было ничего, кроме болотной воды. Мысль, что я несу хлеб и мясо, что они при мне, что я могу это съесть, превращалась в пытку. При этом я боялся, что из-за ранения сойду с ума и могу наброситься на эту пищу.

– Господи! – молил я. – Ты не допустишь, чтобы я дошел до этого, и не дашь мне озвереть настолько, чтобы я дотронулся до пищи, которая может ей сохранить жизнь.

Но не было тогда надо мной милосердия божьего. Утром шестого дня я заметил на лице Лилиан багровые пятнышки, руки ее горели, и она тяжело дышала. Вдруг, глянув на меня блуждающим взором, она быстро сказала, как бы опасаясь, что вот-вот потеряет сознание:

– Оставь меня здесь, Ральф, спасайся сам, мне уже нет спасения!

Я стиснул зубы, потому что мне хотелось выть и богохульствовать, и, не говоря ни слова, взял ее на руки. Огненные зигзаги начали прыгать у меня перед глазами и складываться в слова: «Who worshipped and served the creature more than the Creator?»

Но дух мой гордо распрямился, как слишком сильно натянутый лук, и я, глядя в безжалостное небо, отвечал в своем бунтующем сердце: «Я!»

Тем временем я нес на свою Голгофу самую дорогую для меня ношу, единственную, святую, любимую мою мученицу. Не знаю, откуда и силы у меня появились. Я потерял чувство голода, жары, усталости, не видел ничего: ни людей, ни выжженной степи, – только ее. Ночью ей стало еще хуже. Она теряла сознание и лишь минутами тихо стонала:

– Воды, Ральф!

А у меня – о, проклятье! – были только сухари и солонина. В крайнем отчаянии я разрезал себе ножом руку, чтобы собственной кровью увлажнить ее уста, но она вдруг пришла в себя и, вскрикнув, впала в длительное беспамятство, из которого, казалось мне, уже не выйдет. Придя в себя, она хотела что-то сказать, но лихорадка путала ее мысли, и она лишь тихонько бормотала:

– Не сердись, Ральф! Я твоя жена.

Я нес ее дальше и молчал, ибо уже отупел от страданий.

Наступил седьмой день. На горизонте наконец показалась Сьерра-Невада. Но с заходом солнца стал угасать и светоч жизни моей. Когда началась агония, я положил Лилиан на сожженную землю и стал рядом с ней на колени. Глаза ее были широко раскрыты, они блестели и были устремлены на меня. На миг в них засветилось сознание. Она еще прошептала: «My dear! My husband!» – потом по телу ее пробежала дрожь, на лице изобразился страх, и она умерла.

Я сорвал с головы своей повязки, потерял сознание и уж не помню, что было дальше. Как сквозь сон припоминаю людей, окруживших меня и отобравших оружие. Потом как будто копали могилу, а еще позже мной овладели беспамятство и мрак, а

в нем огненные слова: «Who worshipped and served the creature more than Creator?»

* * *

Очнулся я месяц спустя уже в Калифорнии, у колониста Мошинского. Поправившись немного, я отправился в Неваду. Степь там снова заросла травой и пышно зазеленела, так что я даже не мог отыскать могилы Лилиан и до сих пор не знаю, где лежат ее священные останки. Чем провинился я перед господом, что он отвратил от меня лицо свое и забыл меня в этой пустыне, не знаю. Если бы я мог хоть поплакать иногда на ее могиле, жить было бы легче. Каждый год я езжу в Неваду и каждый год веду бесплодные поиски. С того страшного часа прошли уже годы. Жалкие уста мои уже не раз промолвили: «Да будет воля твоя!» Однако худо мне без нее на свете. Живет человек и ходит среди людей, смеется иногда, а старое одинокое сердце там, внутри, плачет и любит, тоскует и помнит...

Я уже стар, пора мне собираться в другой, вечный путь. Но лишь о том я еще прошу бога, чтобы в небесных степях я нашел мою небесную любовь – и уже никогда не разлучался с ней...

1879

Примечания

1 Все в порядке! (Англ.)

2 Прошу прощения, мисс Морис! (Англ.)

3 Речь (англ.).

4 Бродяги (англ.).

5 Я перешел Миссисипи, я перейду и Миссури! (Англ.).

6 Боже благослови тебя, капитан, и тебя, Лилиан! (Англ.)

7 Твой поляк (англ.).

8 Простите, мой капитан (англ.).

9 Мой дорогой, мой дорогой, мой супруг! (Англ.)

10 Пусть будет так – и ура в честь вас обоих! (Англ.)

11 Это твой дом? (Англ.)

12 Моя крошка! Моя душечка! (Англ.)

13 Это он! Это он! (Англ.)

14 Ах, разбойник! (Англ.)

15 Я твоя жена? (Англ.)

16 Кто превратил божью истину в ложь, и чтит творение, и служил ему больше, чем творцу, кто из них благословен навеки? (Англ.)

17 Скалистые горы! Скалистые горы! (Англ.)

18 Находчивый, ловкий (англ.).

19 Доброго пути! (Англ.)